

Христос Воскресе!

Отцы пустынники и жены непорочны...



Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бур и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи

А.С. Пушкин.

Дорогих читателей,
авторов и друзей журнала
поздравляем с Великим
Праздником
Светлого Христова
Воскресения!
ред. журнала «Жемчужина».

В Е С Н А

Отшумела злая вьюга,
Стала ночь короче дня.
Теплый ветер дует с юга,
Капли падают, звеня.
Солнце, землю нагревая,
Гонит с нашей горки лед.
Тает баба снеговая
И ручьями слезы льет.

Г. Ладонщиков



~ ~ ~ ~ ~

Я родилась, когда уже травую
Войны минувшей поросли окопы.
А вот отец хлебнул беды слихвою,
И дед турил фашиста вдоль Европы.

Не сомневаясь, каждый раз на веру,
Я принимала фронтовые были.
Порою, дед смолкал – ни к чёрту нервы –
Швырял цыгарку в дорожник пыльный...

А нынче май. И дед приснился снова.
И никуда от памяти не деться.
Его, солдатская... сиротская, отцова,
Мне студят кровь и будоражат сердце.

Навалится их память огневая,
И встанет на дыбы единым махом
Всё, что люблю я, что с пелёнок знаю,
За что, миллионы шли на смерть без страху

Ни день, ни два, четыре жутких года.
Их боль в погасших навсегда глазах,
Их беды, их потери, их невзгоды
Приходят каждый май ко мне во снах.

Татьяна ГРИБАНОВА.

Чтите долю солдат за слезу матерей
И окопную сырость и грязь.
Чтите долю солдат за потерю друзей,
За великую с родиной связь.
Чтите долю солдат за шинели в пыли,
За смертельные раны в боях.
Чтите долю солдат, - им родимой земли
Не хватало в далеких краях.
Чтите долю солдат в деревнях, городах...
Поклонитесь у братских могил.
И пусть вечный огонь отразится в глазах,
И придаст всем надежды и сил.
Чтите долю солдат... наш великий народ
Неподкупен, не падок на лесть...
Чтите долю солдат, - не окончен поход
Тех, кто спас веку прошлому честь.

А. Лазутин





В этом стихе вся боль Донбасса
за долгих 8 лет!

Я - Горловка! Я вся в слезах.
Я - в клочья сердце, в клочья душу.
Я - жуткий стон, ужасный страх.
Я - крик, просящийся наружу.
Я - Горловка. Замерзший пес,
Рычащий, раненый судьбою.
Я - дом, кричащий миру SOS,
Я - снег, залитый детской кровью.
Я - Горловка, я - чей то враг,
От взрывов, спрятался в подвале,
За поднятый Российский флаг
Меня из градов убивали.
Я - Горловка, я - весь Донбасс!
Я жизнь, тонущая в печали.
Я Мир прошу: "Спасите нас!",
Но Мир молчаньем отвечает.
Я - дочь, которую страна
От сердца мамы отлучила,
Родные узы порвала,
И на майдане застрелила.
Я - сын, попавший под обстрел,
Без рук без ног, с лицом в осколках.
Я - дед, который не успел
Уйти от взрыва с остановки.
Я - мамочка с дитем в руках ...
Застывшим взглядом в небо смотрим.
Я - бабушка с лицом в слезах,
Мой дом снарядами разгромлен.
Я та семья, что не ушла
От взрывов спрятаться в подвале...
Я та Одесская душа,
Которую весной сжигали.
Я - Мариуполь, я - Луганск,
Я - Волноваха, я - Стаханов,
Я - горе, что пришло от вас,
Скоты, набившие карманы.
Я - плач детей, я - сон под град,
Я - боль погибшего народа,
От пуль украинских солдат
И президентского уroda.
Непокоренная, жива!
Седая, хрипая от воя,
Родная Горловка моя,
Достойна Города - Героя!

Сергей Филин.



Герань

"Средь жизни, грустью сумерек объятай,
Поэт - её хранитель и глашатай".

Б. Пастернак

Вот послушай: осенью неранней
(Стали к утру стёкла замерзать)
Мне вазон поставили герани
И сказали: надо поливать.
Что ж, извольте.
...Как-то справясь с ленью,
Ни один не поопуская срок,
Я трудился - и привык к растению,
Захудалый полюбил цветок.
Ах, зима! Вставало, заходило
Где-то солнце, но в моё окно,
В серый сумрак комнаты унылой
Не кидало ни луча оно.
И, к цветку приставлен, точно нянька,
Видел я в холодной тишине,
Что хиреет бедная геранька,
На зиму порученная мне.
Всё-таки жалел я свой заморыш,
Всё, что мог, я делал для него,
И моя заботливость, как сторож,
Только крепче берегла его.
И чудесно дело обернулось
По весне, когда февральским днём
Солнышко впервые дотянулось
До цветка внимательным лучом.
Раз и два - всё чаще это было,
Всё теплее медлил взор луча,
И, пожалуй, это походило
На визит весёлого врача,-
Он входил и уходил: немало,
Видно, хворых было от зимы,
Но уже больному легче стало,
Оба вдруг повеселели мы.
На цветке, недавно полуголом,
Засияла новая листва,-
Скоро стал он пышным и весёлым,
Полным молодого торжества.
Все листочки (не чудесно ль это?)
Повернулись лапками к окну -
К роднику спасающего света,
Голубую льющему волну.
И с весёлым удовлетвореньем
Я глядел на это торжество,
Царственно вознаграждён растением,
Молодою красотой его.
И горжусь я, что зимою чёрствой,
Оставляя книгу и тетрадь,
Не щадил ни лени, ни упорства,
Чтобы жизнь растенья отстоять.
Послужил и делом я и словом,
Милой жизни воздавая дань,
И, быть может, на суде Христовом
Мне зачтётся эта вот герань.

А.И. Несмелов (Митропольский).
1889-1945

Основы христианской культуры

«О ЗАСТАВЛЕНИИ И НАСИЛИИ» - начало в № 73



8. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Все эти предварительные исследования и соображения, расчищающие путь и проясняющие перспективу, позволяют теперь обратиться к постановке основной проблемы: о духовной допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения.

Понятно, что проблему невозможно ставить до тех пор, пока не установлены и не определены скрытые за нею реальные, предметные величины. Как рассуждать о зле, не обозначив и не раскрыв его подлинную природу? Что можно высказать о понуждении, если смешать его с насилием и не видеть ни его духовной функции, ни его мотивов, ни его назначения? Позволительно ли ссылаться на природу добра; полагая, что его сущность общеизвестна, и не замечая того, что она упрощается и искажается в рассуждении? Что может получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и несостоятельного ответа?

Но для того чтобы правильно поставить проблему и правильно разрешить ее, нужна не только определенность предметного видения; необходимо еще напряженное усилие внимания для удержания того данного состава условий, вне которого падает или снимается самая проблема. Так, не стоит ставить проблему «удельного веса стали» для того, чтобы потом незаметно заменить «сталь» «чугуном» и, далее, разъяснив мимоходом, что «чугун» есть, в сущности, «руда», определить не «удельный вес», а «абсолютный вес» произвольно взятого кусочка руды... Подобно этому, не стоит ставить проблему «сонатной формы» для того, чтобы разъяснить, что сонат вообще не бывает, что доказать ее существование невозможно, что лучше совсем не слушать музыку и что самое лучшее - это внутреннее самонаблюдение глухого человека... Всякая проблема имеет смысл только *при данных величинах* и при их *верном опытном восприятии*; вне этого она падает или обесмысливается, и тогда тот, кто все-таки продолжает разрешать ее в этом виде, оказывается в смешном положении человека, который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с увлечением провозглашает абсолютную истину.

Исследовать проблему о допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения имеет смысл лишь при наличии следующих условий.

Во-первых, если дано *подлинное зло*. Не подобие его, не тень, не призрак, не внешние «бедствия» и «страдания», не заблуждение, не слабость, не «болезнь» несчастного страдальца. Налицо должна быть *злая человеческая воля*, изливающаяся во внешнем деянии. Перед судом *правосознания* это будет воля, направленная против сущности права и цели права, а так как духовность составляет *сущность* права и бытие живого духа есть *цель* права, то это будет *противодуховная воля* – по источнику, по направлению, по цели и по средству. Перед лицом *нравственного сознания* это будет воля, направленная против живого единения людей, а так как любовность есть сущность этого единения и любовь есть сама единящая сила, то это будет *противолюбовная воля* – по

источнику, по направлению, по цели и по средству. Всюду, где такая противодуховная и противолюбовная воля изливается во внешнем деянии, *встает вопрос* о сопротивлении злу посредством пресечения. Понятно, что этот вопрос должен быть *немедленно разрешен* всюду, где внутреннее понуждение оказывается бессильным, а злая воля выступает в качестве внутренне одержимой внешней силы, т.е. где она проявляется как духовно слепая злоба, ожесточенная, агрессивная, безбожная, бесстыдная, духовно растлевающая и перед средствами не останавливающаяся; где, следовательно, реально дан тот состав настроений и деяний, за который евангельское милосердие определило как наименьшее утопление с жерновом на шее (Мф 18:6).

Понятно, что истолкование наличного зла как недуга, заблуждения, слабости, случайного «падения» и тому подобное – не разрешает, а *снимает* поставленную проблему, и тогда все призывы к уговаривающему непротивлению оказываются не ответом на вопрос, а *скрытым уклонением* от вопроса и ответа.

Вторым условием правильной постановки проблемы является наличие *верного восприятия* зла, восприятия, *не* переходящего, однако, в его *приятие*. Пока зло никем не воспринято, пока ни одна душа не увидела внешнего деяния и не прозрела скрытую за ним и осуществившуюся в нем злобу - никто не имеет ни основания, ни повода ставить и разрешать проблему внешнего сопротивления. Именно поэтому многие люди, заранее тяготясь предчувствуемой необходимостью ответа, *отвертываются* от зла и предпочитают его не видеть: то уклоняясь от надвигающихся сведений, то «доброжелательно» истолковывая их в лучшем смысле, то укрываясь за невозможностью и непозволительностью судить ближнего, то утверждаясь в «вере», что злоба вообще не присуща людям. Понятно, что отвернувшийся человек, не видящий, не воспринимающий, не испытывающий, - не может разрешить проблему, ибо он *погашает ее в самом себе*, он освобождает себя от ее бремени, притупляет ее остроту и мучительность, а самого себя лишает права участвовать в ее обсуждении; и вследствие этого все его суждения по данному вопросу оказываются или некомпетентными, как суждения слепорожденного о дополнительных цветах, или схоластическими, как суждения резонера о неиспытанных, выдуманных обстоятельствах.

Следует или не следует физически пресекать злодеяния - в этом компетентен только тот, кто *видел реальное зло*, кто воспринял его и испытал, кто получил и унес в себе его дьявольские ожоги, кто не отвернулся, но погрузил свой взор в зрак сатаны, кто позволил образу зла подлинно и верно отобразиться в себе и вынес это, не заразившись, кто *воспринял зло*, но *не приял зла*. Ибо приявший зло - заразился им, до известной степени стал им и тем самым превратился из субъекта сопротивляющегося - в субъекта, которому надо сопротивляться. Ему ли разрешать вопрос о способах сопротивления? А не приявший зло - подлинно познал его, но не стал им; он имеет его в своем духовном опыте, видит его природу, понимает его пути и законы и потому способен верно поставить и разрешить проблему сопротивления; испытав, отвергнув и умудрившись, он приобрел тем самым силу видения и право суда.

Третьим условием правильной постановки проблемы является наличие *подлинной любви к добру* в вопрошающей и решающей душе. Проблема сопротивления злу есть не теоретическая, а практическая проблема; ее постановка, обсуждение и решение предполагают, что человек не только воспринимает, созерцает или даже изучает явления и поступки людей, но оценивает их, связываясь с ними живым, приемлющим и отвергающим отношением, выбирает, предпочитает и соединяет с выбранным и предпочтенным свое самочувствие, свою радость, свою жизнь и свою судьбу. Здесь мало испытывать и воспринимать – надо любить и вступать в живое тождество; мало мыслить, надо искренно и

подлинно чувствовать; мало констатировать, надо радоваться и негодовать. Если человек, не знающий различия между добром и злом, не может даже усмотреть проблему сопротивления злу, то человек, знающий это различие, но относящийся к нему *индифферентно*, может усмотреть эту проблему, но не сумеет ни поставить, ни разрешить ее. Ибо она открывается только тому, кто берет ее главным, центральным чувствилищем своей души, кто берет ее потому, что не может не взять, и не может не взять ее потому, что вопрос о победе добра над злом есть вопрос его личного бытия и небытия. Подлинное сопротивление злу не сводится к порицанию его и не исчерпывается отвержением его; нет, оно ставит человека перед вопросом о жизни и смерти, требуя от него ответа, стоит ли ему жить при наличности побеждающего зла, и если стоит, то *как именно* он будет жить для того, чтобы этой победы не было. Если торжество кощунственной противодуховности и озлобленной противоположности не душист человека и не гасит свет в его очах, то это означает, что в его душе нет почвы для верного постижения и разрешения проблемы сопротивления злу. Ибо эта проблема формулируется так: что следует делать тому, кто *подлинно любит стихию духа и любви, и*, вот, присутствует при ее опорочении, извращении и угашении. Но компетентен ли нелюбящий судить о трагедии любящего? Что могут сказать «холодный» и «теплый» тому, кто горением приемлет Божественное? Имеет ли смысл допытываться у безразличного, что он будет делать, если увидит гибель того, к чему он безразличен? Вот почему, когда духовный нигилист и индифферентист ставят проблему сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения, то они снимают ее своею постановкою и дают ей мнимое разрешение.

Четвертым условием правильной постановки проблемы является наличность *волевого отношения к мировому процессу* в вопрошающей и решающей душе. Практическая природа вопроса предполагает не только наличность живой любви, но и способность к *волевому действию*, и притом к волевому действию не только в пределах собственной личности, но и за ее пределами - в отношении к другим людям, к их злой деятельности и к тому мировому процессу, в который они органически включены. Этот процесс при любящем и волевом восприятии его предстает в образе великой, развивающейся борьбы, в которой живой и здоровый дух не может не участвовать на стороне добра: он не может не любить, не решать и не напрягаться, содействуя одному и препятствуя другому. И вот, если не стоит спрашивать о том, что делать безразличному, то совсем уже нелепо ставить вопрос о том, что делать человеку, органически безвольному (если бы такой был возможен) или обрекающему себя на искусственное безволие. Человек, сознательно извлекающий свою волю из участия во внешнем для него мире или удерживающий ее от воздействия на душевно-духовную жизнь и душевно-телесную деятельность других людей, - не имеет ни основания, ни права ставить и разрешать проблему о сопротивлении злу посредством внешнего понуждения. Ибо он с самого начала угашает или отводит в себе ту душевную способность (волю) и духовную направленность (на чужое воление), которые только и могут осмыслить эту проблему. Ему и не стоит ставить ее, потому что она для него не существует; ему не стоит и решать ее, потому что она предрешена для него в отрицательном смысле. И все, что он может высказать верного по ее поводу, это открытое признание своей некомпетентности и принципиальное решение воздерживаться от участия в ее обсуждении.

Итак, наконец, **в-пятых**, проблема сопротивления злу посредством внешнего понуждения действительно возникает и верно ставится только при том условии, если внутреннее самозаставление и психическое понуждение оказываются бесильными удержать человека от злодеяния. Физическое воздействие должно

испытываться как *необходимое*, т.е. как практически единственно действительное средство при данном стечении обстоятельств; вне этого не имеет смысла ставить проблему. Самая сущность ее в том, что человеку практически даются всего две возможности, всего два исхода: или потакающее бездействие, или физическое сопротивление. В первом случае он, видя, что психическое понуждение недействительно и что злодейство все равно состоится, - или прекращает борьбу совсем и отходит в сторону («моя хата с краю»), или продолжает применять это средство, заведомо для него обреченное на неудачу. Во втором случае он выходит за пределы психического понуждения и направляет или ограничивает злодейскую волю посредством телесного воздействия. Понятно, что тот, кто выдвигает третий исход и допускает или обнаруживает для данного случая действительность самозаставления и психического понуждения, тот не разрешает проблему, а угашает ее; он доказывает не *духовную запретность практически необходимого* пресечения, а его практическую ненужность и этим *снимает* проблему, обходя ее и не исследуя.

Таковы основные условия правильной постановки этой проблемы: подлинная данность подлинного зла, наличность его верного восприятия, сила любви в вопрошающей душе, сила воли в исследующей и отвечающей душе и, наконец, практическая необходимость пресечения. Проблема может считаться поставленной только тогда, если ставящий признает, что *все* эти условия *даны*, и если он в процессе исследования утверждает их силою своего внимания, не теряет их нечаянно и не угашает их сознательным утверждением или перетолковыванием. Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает вопрос неверным, а ответ мнимым.

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если зла нет, а то, что кажется злом, есть страдание, восходящее к подвижничеству?» Ответ может быть только один: нет, конечно, не следует.

Но чего же стоит этот мнимый ответ на вопрос, который сам себя упраздняет?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если я не вижу зла и не знаю, в чем именно оно состоит, и бывает ли оно вообще, и если бывает, то есть ли оно сейчас и где именно?» Ответ может быть только один: пока не видишь и не находишь - не следует. Но какую же цену имеет такой успокаивающий ответ на вопрос наивного или духовно-слепого ребенка?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если действие зла ничему не вредит или вредит только неценному, нелюбимому, такому, что на самом деле не заслуживает ни обороны, ни поддержки и к чему следует относиться безразлично?» Ответ не вызывает сомнений: нет, не следует. Но какое же значение может иметь этот расчетливо-верный ответ на испуганно-отрекающийся вопрос?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если воля моя мертва для всего внешнего и права в этой своей мертвости, если она не имеет никаких целей и заданий вне меня самого и моей души и не призвана ни к чему внешнему?» Ответ ясен: нет, не следует. Но что же может дать живому духу такой дедуктивный ответ, навязанный формулою самоубивающегося вопроса?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если столь же действительны или гораздо более действительны ласка, уговоры, доказательства или обращения к стыду и совести?» Ответ несомнителен: конечно, не следует. Но кого же успокоит этот самоочевидный ответ, игнорирующий трагическую глубину умолчанной дилеммы?..

Верная постановка проблемы дает совсем иную формулу вопроса, а именно: если я вижу подлинное злодейство или поток подлинных злодейств и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан любовью и волею с началом божественного добра не только во мне, но и вне меня, - то следует ли мне умыть руки, отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить, или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдание, смерть и, может быть, даже на умаление и искажение моей личной праведности?..

9. О МОРАЛИ БЕГСТВА

Так ставится проблема сопротивления злу в ее наиболее острой, напряженной, трагической части, решающей вопрос о допустимости физического понобления и пресечения. С самого начала ясно, что эта постановка вопроса не только существенно отличается от той постановки, которая была выдвинута проповедниками «непротивления», но и целиком отвергает ее. Ибо их постановка всецело покоится на недостаточном, неверном духовном опыте - чисто личном, предметно непроверенном, философски незрелом. Они не испытывают предметно и подлинно то, о чем говорят, наивно отправляясь от собственных душевных состояний и не подозревая о том, что это философски опасно и недопустимо.

Опыт каждого ограничен - и в размерах данных ему способностей, и в составе изначально доступных ему содержаний. И каждый человек имеет задание растить, очищать и углублять свои способности и предметно проверять, умножать и углублять свои жизненные содержания; пренебрегая этим, он обрекает себя на духовное измельчание и оскудение. Но если таково призвание каждого человека, то для *философствующего* и *учительствующего* писателя сомнение в состоятельности и верности своего духовного опыта является первой обязанностью, священным требованием, основой бытия и творчества; пренебрегая этим требованием, он сам подрывает свое дело и превращает философское искание и исследование в субъективное излияние, а учительство - в пропаганду своего личного уклада со всеми его недостатками и ложными мнениями. Как бы ни был одарен человек - ему может нравиться дурное и уродливое; он может просмотреть глубокое и в безразличии пройти мимо священного и божественного; его одобрение не свидетельствует о достоинстве одобряемого; его порицание может быть основано на чисто личных отвращениях и пристрастиях или на панических уклонениях бессознательного (фобиях); его «убеждение» может быть продуктом отвлеченной выдумки, склонности к парадоксу, к умственной аффектации, к необузданному протесту или рисуемой стилизации. И беда, если опасность и недопустимость такого учительства ускользнут от философа, если религиозность не научит его умственному смирению, если он начнет благоговеть перед своими пристрастиями и отвращениями! Тогда вся его философия окажется в лучшем случае удачным самописанием, как бы автопортретом его души, а его учение - призывом к воспроизведению этого портрета в других душах...

Для того чтобы учить, например, о соотношении «зла» и «любви», недостаточно «представлять себе» то, что обычно представляют себе при этом философски неискушенные обыватели: «зло» совсем не совпадает с тем, что «меня *возмущает*», или что «меня *особенно возмущает*», или что меня *всегда* возмущает; «любовь» совсем не есть «жалостливое содрогание при виде чужого мучения», или «удовлетворение от чужого удовлетворения», или «желание всегда владеть тем, что нравится» и т.д. Если мыслитель успокаивается на таком или

подобном этому истолковании, да к тому же еще мнит себя обладателем последней истины, то он обеспечивает себе трагикомический результат в виде претенциозного лже-учения. И дело совсем не сводится к ошибке в „логическом определении“, ошибку надо искать не столько в мышлении, сколько в *духовном опыте*. Не каждый человек имеет подлинный опыт подлинного зла, подлинной любви, религиозности, воли, добродетели и т.д. Огромное большинство людей и не заботится о приобретении его, и не знает, как он приобретается. Многие, быть может, и не могли бы приобрести его, если бы даже захотели и начали стараться». Трудно было бы и требовать этого от всякого обывателя как такового. Но учительствующий философ, который удовлетворяется своими личными, домашне-обиходными представлениями, - вводит духовные пределы своей личности в состав изображаемых им священных предметов и сознательно или бессознательно пытается узаконить, канонизировать для человечества свою немощность и слепоту. К сожалению, в русской философствующей публицистике такой способ «творить» и «учить» является слишком распространенным, и даже исключительная художественная одаренность не всегда спасает от этого ложного и вредного пути.

Постановка проблемы о допустимости борьбы со злом посредством физического сопротивления требует от философа прежде всего наличности верного духовного опыта в восприятии и переживании *зла, любви и воли* и, далее, – *нравственности и религиозности*. Ибо вся эта проблема состоит в том, что *нравственно-благородная* душа ищет в своей *любви - религиозно-верного, волевого* ответа на буйный напор *внешнего зла*. Столковывать эту проблему иначе - значит обходить ее или снимать ее с обсуждения.

И вот Л.Н. Толстой и его последователи стараются прежде всего обойти эту проблему или снять ее с обсуждения. Под видом разрешения ее они все время пытаются показать ищущей душе, что такой проблемы совсем нет, ибо, во-первых, никакого такого ужасного зла нет, а есть только безвредные для чужого духа заблуждения и ошибки, слабости, страсти, грехи и падения, страдания и бедствия; во-вторых, если бы зло обнаружилось в других людях, то надо от него отвернуться и не обращать на него внимания, не судить и не осуждать за него – тогда его все равно что не будет; в-третьих, любящему человеку эта проблема и в голову не придет, ибо любить - значит жалеть человека, не причинять ему огорчений и уговаривать его самого, чтобы он тоже любил, а в остальном не мешать ему, так что любовь исключает даже «возможность мысли» о физическом сопротивлении; в-четвертых, это проблема пустая, потому что нравственный человек заботится о самосовершенствовании и предоставляет другим свободу самоуправления, отвращая от них свою волю и усматривая во всем происходящем «волю Божию»; и, наконец, в-пятых, если уже бороться с внешним злом, то *всегда* есть другие, лучшие и более целесообразные средства и меры. Это означает, что самая сущность зла и отношения к нему, самая сущность любви и нравственности, воли и ее направления, самая основная природа религиозности и даже состав человеческих отношений и столкновений с начала и до конца истолковываются так, что проблема оказывается обойденною или снятою с обсуждения. Драматический элемент ее растворяется в сентиментальной идеологии, трагическая глубина ее замалчивается, добродетель наслаждается своею «любовью», а порок беспрепятственно изливает свою злую волю в мир.

Таким образом, граф Л.Н. Толстой и его единомышленники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за разрешение ее. Трудно найти в их писаниях какое-нибудь суждение по этому вопросу, которое не обнаруживало бы дефектов их духовного опыта и их стремления уклониться от вопроса и ответа. И если пристальнее всмотреться в это бегство философа от разрешаемой им проблемы, то неизбежно вскроются те глубокие основы его мирозерцания и

самочувствия, которыми обусловлена вся эта, типичная для его публицистики, ошибка. Здесь достаточно коснуться этик основ, только указать на них, для того чтобы осветить ее истоки.

В центре всех «философических» исканий Л.Н. Толстого стоит вопрос о моральном совершенстве человека; от разрешения этого вопроса зависит и им определяется все остальное; именно в ответе на него тонет и исходный страх смерти; именно опыт морального совершенства открыл ему и смысл всей жизни, и возможность заполнить ужаснувшую его вначале богопустынную современную душу. Строго говоря, все мирозерцание Л.Н. Толстого выращено им из *морального опыта*, который вознесся надо всем, все судил и осудил, все заменил и вытеснил: и религиозный опыт, и жажду знания, и силу художественно-самозаконного видения, и правосознание, и любовь к родине... Моральность стала высшей, самодовлеющей и единственной ценностью, пред которой обесценилось все остальное. Все учение его есть не что иное, как *мораль*, и в этом заложено и этим определено уже все дальнейшее.

Мораль Толстого как философическое учение имеет два источника: во-первых, живое *чувство жалостливого сострадания*, именуемое у него «любовью» и «совестью», и, во-вторых, доктринерский рассудок, именуемый у него «разумом». Эти две силы выступают у него обособленно и самодовлеюще, не вступая ни в какие высшие, исправляющие и углубляющие сочетания и отнюдь не сливаясь друг с другом: сострадание поставляет его учению непосредственный *материал*, рассудок *формально* теоретизирует и развивает этот материал в мирозерцающую доктрину. Всякий иной материал отмечается как мнимый и фальшивый, откуда бы он ни происходил; всякое отступление от рассудочной дедуктивной последовательности отмечается как недобросовестная уловка или софизм. Все мирозерцание его может быть сведено к тезису: «надо любить (жалеть), к этому приучать себя, для этого воздерживаться и трудиться, в этом находить блаженство, все остальное отвергнуть». И все его учение есть рассудочное развитие этого тезиса.

Именно форма рассудочной морали придаст его учению черту *раздвоенного самочувствия*, постоянно памятующего о своем грехе и противопоставляющего «себя» - «своей злой похоти». Моралист всегда внутренне раздвоен; он напуган собственной грешностью, мнительно оглядывается на нее, педантически следит за ней, судит ее, запугивает ее и остается сам запуганным ею, всегда готовым к самопонижению и *неспособным к цельному, сильному героическому порыву*. Но именно такая цельность и такой порыв бывают необходимы для внешнего пресечения зла. Далее, форма рассудочной морали придает его учению черту *всеуравняющей строгости*, признающей только полноту недостижимого идеала, только одну линию (один критерий!), и притом *прямую* линию (никаких отступлений!). Для рассудка все ясно и просто, он не видит сложности внутренней и внешней жизни, он не знает трагических противоречий, его дело – упростить сложность до ясности и свести ясность к систематическому единству.

Он слеп для реальности и имеет дело только с отвлеченными понятиями. В морали он даст единый критерий, схему, трафарет, штамп и отмечает то, что ему не покоряется. Он ригорист, его тянет к общеутвердительным и общеотрицательным суждениям: все есть – или «а», или «не а»; всякое «а» одобряется, всякое «не а» осуждается, а все остальное – вызывает его гнев как изобретение «свое-корыстия» и «недобросовестности». Отсюда неспособность рассудка усмотреть сложность и глубину жизненных положений и отношений, отсюда и неспособность его разрешать вопросы жизненной целесообразности, которые *превращаются* для него в вопросы моральной верности. Но именно *видение сложности и целесообразности жизнеотношений* бывает необходимо для физического сопротивления злу.

Далее, форма рассудочной морали придает учению Толстого черту своеобразного *эгоцентризма* и *субъективизма*. Запуганный своими греховными вожделениями и необходимостью подвести их под суд единого прямого критерия, моралист начинает испытывать «зло» своей души как подлинное, главное и единственное зло и свою внутреннюю моральную борьбу как центральное событие мира. Мораль всегда учит не о «добре» и «зле», а о *личной доброте* и *личной порочности*; она занята атомом, человеческим индивидуумом; и кругозор ее внимания ограничен: моралист отвращен обычно ото всего, кроме непосредственного состояния личной души. Это объясняется тем, что мораль есть хотя в общем и необходимая, но первичная, низшая стадия восхождения к практическому совершенству. На этой стадии первоначальная, инстинктивная установка себялюбия, присущая самосохраняющейся особи, является еще не преодоленной; направленность (интенция) личной воли и внимания уже обновлена и вступила в духовную стадию - ибо человек ищет некоего объективно-значащего *совершенства*, но предметный объем внимания очерчен пределами личности и прежний инстинктивный «эгоизм» уступил свое место «моральному эгоцентризму».

Моралист есть существо, завернувшееся в себя (интровертированное) и сосредоточенное на *своих* состояниях и переживаниях, на своих склонностях и заслугах. Для него важнее и ценнее воздержаться самому от какого-нибудь дурного поступка, чем внести целую живительную струю в общественную – церковную, национальную или общественную жизнь. Эта сосредоточенность на своем, внутреннем (и притом именно с точки зрения моральности) - бывает у него нередко столь сильна, что он фактически верит в реальность своего личного настроения и *не очень верит* в реальность чужих душевных состояний и чужих внешних поступков. Постоянно разбираясь в своей душе и педантически добиваясь верного знания ее и верного суждения о ней, он не научается верно воспринимать *чужие настроения* и привыкает считать чужие души темной, неизвестной, невоспринимаемой сферой, о которой ни он, ни кто другой «не в праве судить». Необходимая каждому человеку работа внутреннего самосовершенствования постепенно приобретает в его жизни подавляющее, исключительное значение, доходя иногда до моральной мнительности и подозрительности: он становится пленником, рабом собственной добродетели, и если он при этом отменяет все остальные духовные измерения и возводящие пути, то жизнь его приобретает оттенок самоопустошающегося педантизма.

Понятно, что такому человеку естественно взывать к моральному самосовершенствованию и видеть в нем духовную панацею и неестественно воспитывать других и бороться с общественно-объективирующимся злом. В момент семейной, национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасно рефлексировать на свою внутреннюю моральную безошибочность и праведность и приглашать других к такому же «непротивлению», напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе распространяться и заботился только о своей личной незараженности. Наконец, вся эта постановка вопроса ведет к тому, что в учении Толстого моральная верность душевного состояния оказывается *высшей, самодовлеющей целью*, главным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и стремлений. Если для религиозного человека «моральность» есть условие или ступень, ведущая к боговидению и богоуподоблению, если для ученого «моральность» есть экзистенц-минимум истинного познания, если для политика-патриота «моральность» обозначает качество души, созревшей к властвующему служению, – то здесь «моральность» есть последняя и ничему высшему не служащая самоценность. Достигший ее – достиг чего-то последнего и безусловного, того, в чем смысл человеческой жизни и чем невозможно пожертвовать: ибо оно выше все-

го и нет ничего высшего. Все подчиняется моральности, все оценивается ее критерием, она всему цель, для нее все средство. Все можно и должно отдать за нее и ради нее, но жертвовать ею, хотя бы частично, хотя бы на момент, – бессмысленно, противоестественно, кощунственно. Достигнув своего сокровища, скупой рыцарь владеет мирами и не может отдать его за что-нибудь другое, пока не перестанет быть скупым рыцарем...

Именно поэтому моралист такого уклада, если только он последователен, – неизбежно будет обречен в жизни на чудовищные положения. Ибо, в самом деле, что ответит он себе и Богу, если, присутствуя на изнасиловании ребенка озверелой толпой и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеев, взывая к очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству свершиться, останется жить с сознанием своей моральной безукоризненности? Или он здесь допустит «исключение»? Но во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей праведностью и совершит «зло», воспротивившись «насилием»? Если это высшее доступно ему и признается им, то его необходимо формулировать... А если оно будет формулировано, то что же останется от всей пресловутой доктрины «непротivления»?

И. ИЛЬИН.

~ ~ ~ ~ ~

Украина, ты сошла с ума!

Ты теперь не нэнька, а тюрьма.
Ты теперь - Гоморра и Содом,
То ли психбольница, то ль дурдом.

Собирайся! За тобой пришли
Западные дяди-упыри!
Собирайся и не прекословь!
Им нужна твоя живая кровь!

Сколько лет в тебе будили прыть,
Чтобы на Россию натравить!
Мол, друзья тебе - и лях, и швед.
Лишь Она - виновница всех бед.

Скачут над осколками святынь
Внуки тех, кто поджигал Хатынь,
Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр,
Тех, кому неважно - млад или стар.

Почему ты веришь этим псам?
Этим оселедцам и усам?
Ну, тогда пошире рот оскаль,
Прыгай! - "Кто не скачет, тот - москаль!"

Ты всё где-то числишься страной,
В клочья раздираема войной,
Но земля, что под тобой дрожит,
Не тебе уже принадлежит.



За землицу щедро заплатил
Кто-то из заморских воротил.
"Sorry, если кто из вас убит.
Only business. Никаких обид".

Ты однажды выползешь на свет,
Обернёшься... А тебя уж нет.

Константин Юрьевич ФРОЛОВ

Фашист Геббельс о бандеровцах:



Никого люди не ненавидят столь сильно, как того, кто говорит ПРАВДУ.
Платон.

«Жизнь - родине, душа - Богу»

Эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала Российского флота Феодора Ушакова, прославленного ныне в лике святых.

Ушаков Федор Федорович

(1745-1817)



...Величайший русский флотоводец, командующий Черноморским флотом и русско-турецкой армией в Средиземном море. Вошел в историю как победоносный адмирал, не познавший ни единого поражения в морских баталиях. В биографии Ушакова Федора Федоровича было 43 сражения, но ни один из его подопечных не оказался в плену, и ни один из кораблей не был потерян в бою.

Детство и юность

Федор Федорович Ушаков родился 13(24) февраля 1745 года в небольшом селе Бурнаково, Романо-Борисоглебского уезда (ныне Рыбинского района Ярославской области). Отец его - Фёдор Игнатьевич Ушаков (1710-1781), сержант в отставке и дворянин, дядя - старец Феодор Санаксарский.

Мальчик с ранних лет грезил о море, и все «сухопутные» игры были ему неинтересны. Он с большим удовольствием стругал деревянные корабли и пускал их на воду, воображая себя великим стратегом. 16-летнего Федю родители отправили в Санкт-Петербург, где он поступил в Морской кадетский корпус. Он с большим рвением и прилежанием грыз гранит науки, и в 1766 году с отличием окончил учебу в звании мичмана. В начале своей морской карьеры юный Ушаков был направлен на Балтийский флот, но в преддверии русско-турецкой войны был переведен на Азов.

В 1783 году Ушаков, будучи уже капитаном 1-го ранга, получил в распоряжение судно, которое только отстраивали в Херсоне. Строительство оказалось под срывом из-за вспыхнувшей эпидемии чумы, однако Ушакову удалось взять ситуацию под контроль и уберечь всех членов своего экипажа от смертельной болезни. В итоге строительство было завершено, а находчивый капитан был награжден орденом Св. Владимира 4 класса.

Русско-турецкая война

Война подарила талантливому амбициозному офицеру шанс заявить о себе. В 1787 году в его командовании оказался корабль «Святой Павел», на котором он успешно отразил нападения турок.

Военная слава пришла к Ушакову в 1790 году, когда контр-адмиралу было поручено руководство всем Черноморским флотом. Он начал свою блистательную кампанию обходом восточного черноморского побережья, во время которого истребил 26 вражеских судов.

Командуя Черноморской флотилией, Федор Федорович победоносно завершил русско-турецкую войну, разгромив неприятеля в сражениях возле Керченского пролива, мыса Калиакрия и острова Тендра. Блестящие победы Ушакова принесли ему многочисленные почести, награды и произведение в вице-адмиралы.

В краткой биографии Ушакова имелось место новшества в ведении морского боя: стратег первым в истории нарушил негласный кодекс сражения и кардинально изменил тактику. Корабли русского полководца стремительно сближались с неприятельским флотом и, не тратя времени на перестроение, атаковали главный вражеский корабль, а после - и все остальные. Ушаков до последнего преследовал и топил все турецкие корабли. Он щадил человеческие жизни и брал пленных, но безжалостно уничтожал неприятельские суда.

Средиземноморский поход

В 1798 году император Павел I отдал Ушакову приказ - направить черноморскую флотилию к Ионическим островам, захваченным французами, и укрепить российскую власть на Средиземном море. Примечательно, что в этот раз союзником Ушакова стал его недавний противник - Османская империя.

Русскому флотоводцу удалось в кратчайшие сроки освободить средиземноморский архипелаг от присутствия французов. По окончании успешной экспедиции Федор Федорович был возведен в чин адмирала, а турецкий султан в знак уважения презентовал ему богатые дары. Адмирал Ушаков, морской деятель, прославил и высоко поднял авторитет в то время еще молодого Черноморского флота. Турки с почтением называли его «Ушак-паша».

Будучи сторонником суворовской школы воспитания защитников отечества, он имел глубоко христианскую натуру, проявившуюся во всех направлениях его деятельности: военной, дипломатической, благотворительной. Русский народ знал: где Ушаков - там победа. Как и генералиссимус Суворов, Ушаков стал символом непобедимой мощи русского воинства.

19 декабря 1806 года адмиралом Ф.Ушаковым было подано прошение об отставке. В 1810 году он переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря. Будучи племянником знаменитого санаксарского старца Феодора, адмирал последние годы жизни провел вдали от столицы, занимаясь благотворительностью и помогая обездоленным. Адмирал Ушаков был частым богомольцем в Санаксарском монастыре, подолгу оставался в нем, неукоснительно посещая все монастырские богослужения. После начала в 1812 году Отечественной войны, Ф.Ушаков совместно с темниковским протоиереем Асинкритом Ивановым устроил госпиталь для раненых, пожертвовал средства на содержание 1-го Тамбовского пехотного полка.

Последним пристанищем великого русского полководца стала небольшая деревенька Алексеевка, где он доживал свои дни. Скончался Федор Федорович 2(14) октября 1817 года. Усопшего несли на руках почти 5 верст до самой Санаксарской Рождества Богородицы обители. По завещанию Федор Федорович был погребен «в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора». Позже над местом упокоения Ушаковых была воздвигнута часовня. Спустя столетие её до основания разрушили, а останки праведников осквернили...

~~~~~

В 1944 г. государственная комиссия обследовала место захоронения адмирала Ушакова и обнаружила его останки нетленными. С той поры монастырь находился под присмотром властей. И, как говорят, в темные времена безбожия слава Ушакова спасла обитель от разрушения.

Феодор Ушаков в своей земной жизни был доблестным флотоводцем, покрывшим себя неувядаемой славой, и в то же время человеком высокой духовной жизни, исполненным необыкновенной чистоты, подлинным подвижником благочестия. Светское и духовное начала соединились в нем удивительно гармонично, и жизнь его, победив неумолимое время, стала достоянием вечности, превратившись в воплощенную легенду, песню, переходящую из уст в уста. В его личности сошлись высокое служение Церкви и доблесть православного воинства. В народе всегда глубоко почитался подвиг воина, исполненного непоколебимой веры мужества и христианского сострадания к ближним. Милостивый печальник народных нужд, суровый и требовательный по отношению к себе, но снисходительный и щедрый в обращении к подчиненным, - таким был адмирал.

4-5 августа 2001 года в Санаксарском Рождества Богородицы монастыре Саранской епархии состоялись торжества, посвященные канонизации святого праведного воина Феодора (Ушакова), адмирала Российского флота. Впервые в истории христианства в лике святых прославлен флотоводец...

По материалам Интернета

~~~~~

**24 февраля - день рождения Свят. Федора Ушакова.
В этот день началась спецоперация.**

А теперь прочитайте: на иконе новопрославленный святой изображен со свитком, на котором начертаны знаменательные слова:

**«Не отчаивайтесь, сии грозные бури
обратятся ко славе России».**

Святой праведный воине Феодоре, моли Бога о нас!



Молиться

Экспресс, набрав приличную скорость, несся среди темноты. А, кроме темноты, за окнами был ужасающе непривычный холод, изрядно потрепавший меня сегодня. В вагоне же было тепло и комфортно. По крайней мере, мне, битых пять часов слонявшемуся по улицам столицы.

Я читал, и чтение так убаюкало, что я потерял чувство времени. Не то чтобы книга была интересная, а потому что устал за несколько напряженных дней. Решив убедиться, где мы едем, я закрыл книгу и стал пристально вглядываться в темноту. Но по мере того, как я это делал, мое беспокойство нарастало: за окном проносились большие дома и магазины, полные света, дороги, запруженные автомобилями, но не узнавал места.

Вдруг мне стало совсем не по себе от мысли, что я мчусь не туда. Я огляделся по сторонам. Пассажиры мирно отдыхали, девочка рядом со мной, копалась в планшете, трое суворовцев, сидящих рядом, грызли яблоки и негромко разговаривали. Да и все остальные были спокойны чрезвычайно. Это было невероятно: мы все ехали не туда. Но куда же? Я поглядел на циферблат своих часов: сорок минут в пути. Должны же выехать из ближайшей Москвы! Но нет. Опять - дома, автомобили. Отличная иллюминация. Боже правый! Как же такое возможно?

И тут я по-настоящему запаниковал: просто приткнулся к окну, в ожидании рассмотреть привычную картину. Но той все не было. Потерявши всякую уверенность, что происходящее со мной реально, я ощутил на глазах что-то влажное. Слезы вытекали из меня, проделывая путь до подбородка, а затем срывались вниз. И я не мог их остановить.

Девочка, сидевшая рядом, насторожилась, глядя на меня.

- Вам плохо? - наконец через десятисекундную паузу произнесла она.

Но ответить я ничего не мог: слова, которые я произносил, не были слышны никому, кроме меня. Это были слова молитвы, которую я когда-то хорошо знал. Вот они-то и вспомнились, внезапно и сразу все. Я глядел на девочку, не переставая плакать, и лишь беззвучно шевелил обветренными губами. И что-то странное наполняло меня при этом. Что-то необъяснимо теплое и светлое, делавшее меня легким и естественным. Тем человеком, о котором я давным-давно позабыл.

И даже, пробудившись от странного сна, я не мог остановить влагу, сочившуюся из моих глаз.

- Вам плохо? - спросила сидевшая рядом девочка.

Сквозь слезы я улыбнулся ей.

- Наоборот. Мне хорошо.

Владимир Бодров. Россия.

ОТТЕПЕЛЬ



Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели
И потемнели снега.
В клочьях разорванной тучи
Блещет осколок луны.
Сосен тяжёлые сучья
Мокрого снега полны.
Падают, плаваются, льются
Льдинки, втыкаясь в сугроб.

Лужи, как тонкие блюдца,
Светятся около троп.
Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля,
Неизмеримой работой
Занята снова земля.
Скоро проснутся деревья,
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелётных кочевья
В трубы весны затрубят.

1948 **Николай Заболоцкий**



“Моё мнение могло не раз измениться. Но не тот факт, что я всегда ПРАВ”.
(Ashleigh Brilliant)

«КРАСНЫЙ» АРХИЕРЕЙ

рассказ

Над монашками еще и глумились долго, потому как не старухи древние они еще были.

Командир карательного отряда - щедушный низкорослый мужичок средних лет, повернул желчное, заросшее щетиной, лицо к стоявшему рядом пожилому бойцу:

- А вы, товарищ, не хотите присоединиться к молодцам? - и зло-весело сверля его карим глазом - другой был, ровно заслонкой, прикрыт бельмом, кивнул на заброшенный овин, откуда доносились девичьи стоны и причитания.

Дядька растерялся, опустил ствол винтовки, и тут же остановились, перестали выбрасывать лопатами землю из ямы вкопавшиеся уже по грудь два священника и немолодой, но крепкий мужик - церковный староста. Они смущали народ, когда из монастырских храмов и здешней приходской церкви отряд выгребал ценности. С ними, с "контрой", долго не чикались, тут же к высшей мере приговорили.

Лишь по-прежнему стоявший на коленях возле края разверстого зева ямы восьмидесятилетний старец-архиерей монотонно, нараспев, читал молитвы; ветерок шевелил на его голове реденький белесый пух.

- Что, работнички? Хватит с вас? Авось, все поместится! - бельмастый знаком приказал копалям выбираться из ямы.

Разрумянившееся потные бойцы вытолкнули из сарая трех монахинь. Они, увязая босыми ногами в холодной супеси и пытаясь прикрыть наготу разодранной одеждой, взошли на земляной бугор. Монашенки помоложе жались к настоятельнице, статной сорокалетней женщине. Оглянувшись, она ожгла палачей взглядом черносморозинных глаз.

- Приготовиться! - скомандовал бельмастый, с усмешкой косясь на молоденького служивого с расцарапанной мордашкой; тот, вжимая в плечо приклад винтовки старательно целился. - Пли!

"Какая баба красивая! - ненароком успев встретиться со взглядом игуменьи, вздохнул пожилой дядька. - Эх, губим!.. Каторжанец, твою мать!" Он поморщился от звука скрипучего неприятного голоса бельмастого, выкрикивающего команды.

Другой залп смел в яму священников и старосту, остался стоять епископ с воздетыми к небу руками, шепча слова отходной молитвы. Но вот и он повалился...

- Свадьба что надо - невесты, женихи и посаженный батюшка! Зарывайте!

Бельмастый отошел к воротам овина, запалил остатки сена. Бойцы, торопливо закидывая землей убиенных, хмуро косились на своего командира: он, неотрывно глядя на взметнувшиеся языки пламени, бормотал что-то, лишь ведомое ему...

- Серафима!..

Епископ-обновленец Александр Надеждинский, высокий, худощавый, после бессонных ночей с набрякшими синими подглазьями на осунувшемся лице, мерил шагами взад-вперед полутемную горницу; при тусклом свете керосиновой лампы длинная уродливая тень бестолково металась по стене.

Чумазый, со спутанной гривой нечесаных волос, парень, заикаясь и плача, закончил свой сбивчивый рассказ и, когда Александр сдавленно простонал, сжался в углу, вылупив полубезумные глаза. Рот его перекосялся в страшной гримасе, на губах запузырилась пена, и через минуту парень забился в припадке на полу.

Прибежавший на шум епархиальный секретарь остановился в растерянности, не ведая чем помочь парнишке. Он первый заметил этого оборванца, трущегося около архиерейского подворья. Парня прогоняли, а он все упорно норовил попасться на глаза архиерею и, стоило епископу Александру выйти на крыльцо, бросился ему в ноги, лопоча невразумительно и обливаясь слезами. Его попытались оттащить прочь, но кто-то из obsługi признал в нем иподиакона убитого епископа Варсанофия.

Он видел все... Родом из тех мест, исхитрился как-то прошмыгнуть напрямки лесом, пока приговоренных везли окружной дорогой на место расстрела, затаился в кустах, после того как упал последним владыка, заревел в полный голос. Не услышали: спасло то, что рьяно занялись, затрещали, стреляя далеко головешками, крыша и стены овина, и в этой зловещей трескотне потонули рыдания парнишки...

Епископ Александр, хотя и не разобрал доброй половины слов, но представил себе произошедшее до сердечной обессиливающей боли зримо.

"Серафима!.."

Вроде бы с той поры и немного лет минуло, и...много...

У них все было сговорено. Великая Смута только начинала надвигаться, расправлять над Россией кровавый свой морок, но все еще в жизни казалось прочно, незыблимо.

У Александра подходила к завершению учеба в духовной академии, надо было решать: принимать ли монашество, либо приглядывать себе невесту, жениться и ждать святительского рукоположения в приходские батюшки. За будущей матушкой дело не стало. На рождественские каникулы из Лавры он летел к Серафиме в мыслях, как на крыльях, но мучительно медленно тащился поезд. Проплывали за окном сонные, засыпанные снегом полустанки, оставались позади станции с важно вышагивающими по перрону городскими и ватагами гомонящих пирожников, и - опять за окном то глухой сумрачный перелесок, то холмы с черными пятнами деревенок на вершинах.

С Серафимой выросли вместе. Отец ее был настоятелем храма в городской слободке, отец Александра - простым псаломщиком. Александр хорошо помнил, как трепетал отец перед суровым громогласным протоиереем, допустив оплошку в службе, и, выслушав внушения, заискивающе лебезил. Услужливо прогибая спину, он тыкался багрово-красной коковой носа в холеную поповскую руку, ища благословения и забвения вины.

Поначалу маленький Саша тоже боялся гневных настоятельских глаз и прятался, позже ему становилось стыдно за отца. Тот, пережив очередную выволочку, все чаще прикладывался к кружке с компанией нищевродов за углом и, наклюкавшись, беззвучно плакал, размазывая слезы по лицу. Сыну быть вот таким не хотелось...

В семинарии Александр выбился в первые ученики, а когда оказался в академии и в редкие побывки дома встречал старого протоиерея, тот теплел взглядом: "Каков молодец! Не в тятку!"

Глаза у Серафимы - в отца-настоятеля, жгуче-черные, только не гневливые и высокомерные, а с обвораживающей лукавинкой и тайной на доньшке. Приехал как-то на каникулы Александр, увидел неожиданно расцветшую из нескладной девочки-подростка Серафиму и без памяти влюбился...

После вагонного тепла Александр, выйдя на перрон, мгновенно продрог от належавшего свирепо ледяного ветра, охрип, пока кричал извозчика, и, наконец, постучав в дверь родного дома в слободке, еле слышно откликнулся просевшим голосом.

Матери подсказало сердце: сразу распахнула дверь. В домике было уютно, тепло, пахло ладаном, в красном углу трепетал огонек лампадки перед святыми ликами. Только не встречал отец: однажды после настоятельской взбучки вышел из храма, шагнул еще раз-другой и упал.

Александр, долго не церемонясь, забрался на русскую печь и на жарких кирпичках лежанки тут же провалился в сон.

Пробудился он от того, что мать, взобравшись на приступок у печи, трясла его за плечо:

- Санушко, стучается к нам кто-то! Ночь ведь глухая!

Александр прислушался: то ли ветер хлопал незапертой впопыхах калиткой, то ли вправду топтался кто на обледенелых тесинах крыльца и дергал за дверную скобу.

За дверью ответили не сразу, будто раздумывали:

- Пустите, люди добрые! Не дайте погибнуть!

Серую невзрачную одежду вошедшего, от выброшенного на голову капюшона до бахил на ногах облеплял снег; незнакомец прижимал к груди окоченевшие без рукавиц руки. Александр стащил с него "наволоку", явно не по его низенькому росту, мать, охая, принялась растирать шерстяным шарфом незнакомцу белые, как снег, кисти рук.

Нежданный гость, усаженный на табуретку, прижимаясь спиной к жаркому боку печи и постанывая от боли, меж тем настороженно оглядывал горницу. Был он одних лет с Александром, по смуглому лицу с тонкими чертами, по длинным "музыкальным" пальцам угадывался скорее студент, хоть и назвался он купеческим работником, отбившимся от обоза и заплутавшим в такую непогоду.

Один глаз у него, точно заслонкой, был прикрыт бельмом, другой же, темно-карий, с "печалинкой", изучающе-неотрывно следил за хозяевами.

- Мне б только до утра отогреться, потом пойду догонять своих... Вашу доброту век не забуду!

Он и, верно, ушел, едва рассвело, и метель улеглась.

Александр, собираясь к Серафиме, скоро бы и забыл про ночного гостя, кабы днем к Надеждинским не заглянул урядник: не видали, мол, такого-то? И приметы точные назвал. С этапа арестант намеренно ушел, обыскались, но как сквозь землю провалился.

Александр, представив занесенную снегом, скрюченную от мороза фигуру на крыльце, промолчал, недоуменно пожимая плечами.

- Прощевайте тогда! - пожилой урядник, прихожанин здешнего храма, расспросами больше томить не стал, вздохнул только, подходя к двери: - Опасный преступник - вам скажу! Бомбометатель! Если что, вы уж...

На пороге он столкнулся с городовым:

- Нигде нет, ваше бродь! - доложил тот. - Может, замерз, и пургой занесло?

- Туда ему и дорога! Жаль, что не взяли...

Александр встрепенулся, хотел выбежать на крыльце вслед за полицейскими, но, толкнув было дверь, остановился, чувствуя, как краска стыда начинает заливать лицо. Сначала промолчал, жалея замерзающего бедолагу, а теперь - нате, вот! - опаматывался. "Поймают его сами. И на мне греха не будет", - утешил он себя...

Но потом, уже в Санкт-Петербурге в академии, случившееся той морозной ночью все равно не давало ему покоя, засело занозой: "Он же бомбист, наверняка на совести загубленные жизни!"

Великим Постом Александр, облегчая душу, исповедовался отцу Пармену. Выслушав десятка два "академистов", тот безразлично-непроницаемо поглядывал на кающегося Александра, как механический болванчик размеренно кивал головой с реденькими волосенками, зачесанными в жиденькую косицу. Когда же Надеждинский решился упомянуть о беглом арестанте, которого укрыл, в обычно сонных глазах отца Пармена сверкнул хищно и настороженно интерес, что Александру не по себе стало.

И предчувствие не обмануло...

Спустя недолгое время, Александр, держа в руке саквояж с пожитками, добирался до вокзала: нежданная дорога домой предстояла. Его окликнул вдруг Васька Красницкий, по прозвищу Революционер, тоже на днях отчисленный из академии - маленький светлый человечек с бегающими неприятными глазками. Они торопливо, но сноровисто ощупывали Надеждинского:

- Горюешь, брат? Но дело ты стоящее сделал, проболтался вот только зря... Узналось как? Пармен?!

Александр, немного удивленный Васькиной прозорливости, растерянно кивнул.

- Одному ему на исповеди и сказал.

- Нашел кому! - Красницкий налился краской, сердито запыхтел, засопел. - Он же у начальства глаза и уши! За тем к нам и приставлен был!

Васька учился с Надеждинским на одном курсе, но Александр держался от него поодаль. Непоседе Красницкому учение давалось легко, отпрыск столичной "поповки" позволял себе на лекциях дерзить с преподавателями и подначивать их. Терпели Ваську до поры до времени; а он в какие-то тайные кружки стал похаживать, чем и прозвище себе заслужил, затесывался в демонстрации рабочих на питерских улицах и однажды неслабо получил по спине нагайками от казаков.

"Мне революционеры не нужны! Мы здесь Богу молимся, а не по баррикадам бегаем! И с господами бомбистами не знаем! - отзвук раздраженного густого баса ректора академии до сих пор гудел у Александра в ушах. - Ладно, тот олух Красницкий - хлыщ столичный, а ты куда лезешь, деревня неумытая?!"

- Даст Бог, свидимся еще! - Красницкий, привстав на цыпочки, тоекратно ткнулся Александру в щеки мокрыми холодными губами и пропал в людской толчее на тротуаре.

"Он, похоже, не сожалеет, что исключили, - вздохнул Надеждинский. - Мне-то вот каково возвращаться?.."

Дома, в слободке, было привычно тихо, редкий прохожий неторопливо, осторожно брел по прихваченной утренним морозцем осклизлой тропинке; размеренно, редко позвякивал на звоннице церкви одинокий колокол - шла Страстная седмица, наставлял Великий Четверток.

В тесном, полутемном, с низеньким сводом, но зато с детства знакомом и дорогим фреской ли со святым ликом на стене или старого письма иконами храме, Александр стоял на коленях перед Распятием и молился. Прихожан было много, стояли плотно, неловко в тесноте крестились. Надеждинский чувствовал на себе их взгляды - вырос он на глазах у многих, и взоры эти были то сочувственные, то недоуменные, но ни одного - недоброежелательного и злого.

Нехорошая весть доходит ведь быстро. Ему стало еще горше.

"Господи помилуй, помоги и не оставь!" - шептал он, глотая слезы...

Серафима ждала его у калитки в церковной ограде, с тревогою заглянула в глаза:

- Приехал, а к нам не заходишь. Меня избегаешь будто...

Она ласково дотронулась до его руки, но Александр подавленно молчал и даже до дому ее не проводил, отговорился каким-то срочным делом.

- Ты к нам в Пасху-то придешь? - уже вдогонку крикнула Серафима. - Я ждать буду!

Лучше бы было не ходить в настоятельский дом, да куда себя денешь и никуда от себя не убежишь...

Не успели Александр расцеловаться и "похристосоваться" с Серафимой, как старый протоиерей, ее отец, взорвался возмущенно, только что Александра со двора не погнал в толчки:

- Мне смутьяна и каторжанцев дружка в зятя не надо! Что стоишь, впрямь оряси-на, глазки потупивши? Будто и из академии не вышибли?! Забирайся к своим каторжанцам и про мою дочь забудь!

- Тятенька, перестаньте! - попыталась утишить отца Серафима, только куда там!

- В горницу иди! Обрадела женишку-то, выскочила! - зыкнул вконец рассвирепевший протоиерей на дочь. - Не будет вам моего родительского благословения! Во веки веков!

Александрю вспомнился покойный бедняга отец: то-то дрожал огоньком грошовой поминальной свечи, переживая настоятельский гнев! Да и самому бы теперь впору сквозь землю провалиться.

Серафима же поджала в тонкую ниточку губы, и в черных глазах ее строптиво заблестели гневные огоньки:

- Я тогда в монастырь уйду!

- Скатертью дорога!..

Иеромонах Александр, принявший "постриг" несколько лет назад, переживал Смуту в маленьком монастырьке под Питером.

Что ожидало впереди?..

Малочисленная братия истово молилась в храме; кто-то предложил по крепкому еще льду Финского залива податься за границу.

"На все воля Божья!" - сурово одернул ослушника старик-игумен.

Внезапно появился... Красницкий. Александр поначалу и не узнал его: сановный, в теплой широкополой рясе и алой бархатной скуфье, протопресвитер неспешно выбрался из кибитки и важно, вразвалочку, направился к храму.

- Да! Небогато у вас! - окинув беглым взглядом убранство внутри, вздохнул он и устался на Александра. Даже в заплывших сонных глазках вслед за удивлением мелькнула неподдельная радость.

- Не ждал, не гадал, что ты тут! - когда остались с глазу на глаз, проговорил Красницкий. - Не сбились бы с дороги, век бы в эту дыру не заехал! Да ладно... Я теперь член Высшего Церковного Управления, слышал о таком? Самого патриарха Тихона вот где держим! - Красницкий крепко сжал маленький, в рыжих конопушках, кулачок. - Что тебя здесь ждет? Ну, разгонят вас, монасей, и то... в лучшем случае. А у нас, "живоцерковных", епископом будешь. Поедешь в свою Вологду церковную жизнь направлять и обновлять. Тянет на родину, а?!

Когда глава "Живой Церкви" митрополит Введенский и с ним еще двое архиереев-обновленцев в Москве соборно "поставили" Александра во епископы, он опять припомнил своего, всегда униженного, дьячка-отца и громогласого хамоватого протоиерея. Не будет на приходах такого при нем, новом архиерее!..

Попутчик удивил - влез в купе вагона весь в скрипучей черной коже, козырек кепки, как у бандита - на самые глаза. Сел молча у окна и, когда поезд тронулся, спросил картаво скрипучим голосом:

- Не узнаете меня? Вы мне жизнь той давней зимой спасли!

Попутчик снял кепку и солнечные блики, отражающиеся от стекла, осветили на шлепку бельма на его глазу.

- Едем вот с отрядом разную контру шерстить, в том числе и церковную. Рад, что вы на нашей стороне...

По приезде в Вологду бельмастый комиссар со своим отрядом немедленно ушел по храмам "изымать ценности", а новоявленного епископа ждала весьма скромная

встреча. Хотя местная власть подсуетилась, и большинство храмов в городе "заняли" попы-обновленцы, немногая числом кучка раскольного священства, бывшая не в чести у прежних архиереев, подходила под благословение к епископу Александру.

А народ Божий в храмы к обновленцам не пошел! Так и служил потом новый "владыка" в аукающей гулким эхом пустоте. Отряд же Бельмастого, разоряя церкви, всякое мало-мальское сопротивление жестоко карал, и на слабые протесты "красного" архиерея там давно махнули рукой: будет лишка выделяться - и самого к ногтю прижмем!

- Что мы, ровно раскольники, творим-то, кому помогаем и способствуем?! Под чью дуду пляшем?! Господи, помоги и вразуми! - молился в своих "владычных покоях" Александр.

Весть о расправе над Серафимой и монахинями была последней каплей.

- Возомнили мы о себе, в великую прелесть впали! Надо ехать к Святейшему Патриарху Тихону и - в ноги ему, каяться!

С городского вокзала тронуться в путь Александр не решился: архиерей - не иголка, всяк заметит.

- Домчим полегоньку, надо - и до Москвы! - епархиальный кучер, вроде бы человек надежный, споро погонял пару лошадей, заложенных в тарантас.

Но отъехать от Вологды далеко не удалось. В сумерках на глухом проселке нагнал беглеца конный отряд.

- Вы мне когда-то жизнь спасли, я тоже в долгу не останусь! Возвращайтесь и будьте с нами заодно, как прежде! А про ваше бегство будет забыто, - Бельмастый выжидающе помолчал. - Нет?! Хотите умереть праведником? Не получится! Слух будет пущен, что вы, святой отец, прихватили церковное золотишко и того... втихую смотались за кордон!

В густеющих сумерках бельмо на глазу комиссара проступило явственней, зловеще.

"На кого же он так похож? - подумал Александр; страха не было. - Иуда?.. - одними губами успел еще прошептать.

Сухого щелчка выстрела он не услышал.

В разлившемся вдруг перед ним сиянии предстала радостно и светло улыбающаяся Серафима, юная, красивая, как в те далекие годы...

Священник Николай Толстик.

Листая старую тетрадь

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
Из мрачной глубины веков
Ты поднималась исполином,
Твой Петербург мирил врагов
Высокой доблестью полков
В век золотой Екатерины.
Россия...

Священной музыкой времён
Над златоглавою Москвою
Струился колокольный звон,
Но даже самый тихий, он
Кому-то не давал покоя.
А золотые купола
Кому-то чёрный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так доняла,
Что ослепить тебя решили.
Россия...

Разверзлись с треском небеса,
И с визгом ринулись оттуда
Срубая головы церквям
И слава нового царя,
Новоявленные иуды.
Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь-великий...гений.
Россия...

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
О, генеральская тетрадь,
Забитой правды возрожденье,
Как тяжело тебя читать
Обманутому поколенью.
Россия!!!

Игорь Тальков.

Б е л ь к а н т о

За моим окном соловей поёт. Тёк-тёк-тёк! Тюить-тюить-тюить! Тиу! Тиу! Следом мелкой дробью и долго так: trrrrrr...trrrrrrrrrrr... Примолкает, прислушивается. Из соседнего парка другая птаха клёканье, тёканье и дробные коленца выдаёт. А потом издали следующая включается.

Соревнуются соловушки. Завораживают. Весь день перекликались, теперь ввечеру особенно звонко. Иные птицы уж умолкают, а для моих раздолбе. В ночи только их и будет слышно.

Все окна настезь!

Ночью всё соловьи щёлкали, то сонно, то раскатисто переливчатыми трелями заливались, к рассвету умаялись. А тут и первые синички пробудились: тенькают хрусталём. Солнце в небо поднимается, всё оживлённое птичий гомон. Сначала пытался знакомых птах признать, но такой занялся перезвон ликующий несмолкаемый, что бросил я эту затею. А солнышко всё выше, вот уже стрижи пронзительно зазвенели, скользят в поднебесье, и слышна их радость над всеми голосами.

Первое «ку-ку» в звенящем весеннем гвалте дождался. Вещунья кукушечка кукнёт и эхо слушает, уж и тревожишься, потом как заводная зарядится, откукивает несчётные сроки, уши наостряешь, а она: мало? а вот ещё тебе, слушай-слушай, дурачок, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...

Из сборника **СОПРИКОСНОВЕНИЕ**

Александр ГЕРАСИМОВ

Фразы дирижеров, или как ругаются интеллигентные люди:

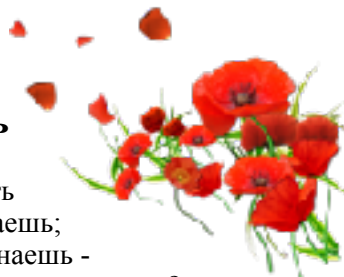
“Остались всего три репетиции до позора!”



10-ая Заповедь

Добра чужого не желать
Ты, боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь -
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На все спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня,
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, -
О боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

А.С. ПУШКИН.



СТАРЫЙ ДОМ НА ГОРЕ

Старый дом на горе,
голубями поющие сени.
Как веками велось,
на Божнице – Спасителя лик.
Здесь когда-то надеждой
так густо дышали сирени,
и созвездия счастья
плескал сквозь купавы родник.
На столе - самовар,
бузиною начищен до блеска...
Жизнь, как день, отцвела,
вечер выпит до дна.
По привычке рядом –
птицы райские на занавесках,
Только нитки поблёкли,
а солнце затмила луна.
Старый дом, где слышны
по ночам моих пращуров речи...
Всё наследство –
три карточки да полинялый рушник.
Только нет им цены,
как навеки утраченной вещи...
Ведь предать память сердца –
засыпать землёю родник.

Татьяна ГРИБАНОВА.

"АНЧОУС"

Бабушка выросла словно из-под земли. Не было - и вот она. Он еле успел нажать на тормоз. Мощный автомобиль, взревев, словно укрощённый хищник, остановился.

Дмитрий Викторович выскочил на улицу. На языке много чего вертелось. Он уже рот открыл, но вдруг замолчал.

- Доброго здоровьичка, внучек. Торопись куда, поди? - незнакомая бабулька бесхитростно улыбалась.

Глаза будто прозрачные голубые леденцы. Выцветший платочек с цветочками, ситцевое платьице. На ногах - галоши. Поправила натруженными руками седые волосы, ещё раз улыбнулась. Улыбка была совсем детская, даже такие же беззащитно-розовые дёсны, как у младенцев.

Дмитрия Викторовича уважали коллеги и побаивались партнёры. Он был жёсткий, бескомпромиссный, ничего не боялся. Считали, что идёт по головам и чужды ему человеческие эмоции. И будь на месте бабушки кто-то другой, не миновать бы тому человеку всей глубины его гнева.

Но где-то в глубине Дмитрия Викторовича жил мальчик Митя. Обожающий свое детство и бабушку Липу. К ней мальчика на всё лето привозили родители. Он спал в пологе. Просыпался, когда аромат от бабушкиных блинчиков и пирожков разносился по всему дому. Соскакивал и бежал к ней по деревянному, тёплому от солнца полу. Бабушка прижимала его к себе, обнимая руками, ещё в муке, которые вытирала о передник.

На столе стояла кружка с парным молоком. А потом они шли в поле. И облака проносились низко, качались васильки. На горизонте паслась коровка Бусинка. А рядом шёл конь Звездочёт. Вечером бабушка рассказывала сказки. И можно было выйти на крыльцо, послушать звуки ночных гостей, как она их называла. Что-то светилось в траве, кто-то шуршал. И не было никого счастливее Мити в тот момент...

Поездок к бабе Липе он всегда ждал. Его утончённая и модная мама моталась по курортам. Отец, крупный чиновник, пропадал на работе. У мальчика было всё: игрушки, поездки, исполнение любых желаний. А ему хотелось поскорей в деревню к бабушке. И он не мог понять в тот день страшных слов по телефону: бабушка Липа умерла.

Как это? Баба Липа не может умереть! Как без неё будут Бусинка и Звездочёт? Ночные светлячки? Как без неё будет он, Митя?

- Какая выдержка у мальчика! Стоит и даже не плачет! Собранный такой! - удивлялись на похоронах знакомые.

Дима попросился туда, как не отговаривали его отец и мать. Боль изнутри ломала, била, выворачивала. А внешне он стоял твёрдо, даже не плакал. С бабой Липой уходило всё, что было ему так дорого...

С тех пор изменился и его характер.

Прошли годы. И вот ему 35 лет. Он ехал в аэропорт, ждал полёт по делам. Но вдруг вспомнил просьбу своего друга, егеря Сергея. "- Отправь телеграмму, Дим. Это очень важно. Я сам уже не успеваю, в лес надо. Дозвониться до своих не могу. Это тётке моей. Связь у них частенько не ловит. Отправь, прошу. Только не забудь!" - просил Сергей.

Дмитрий Викторович ничего не забывал. Но закрутился с новым контрактом. И... почему-то забыл. Вспомнил уже по дороге...

Глянул на навигатор: населенный пункт с незнакомым названием. Не то город, не то поселок. Он ещё успевает к самолету, время есть. Отправил телеграмму, сел за руль и помчался в аэропорт.

И вот тут-то, как из-под земли и появилась та бабуля...

Она была очень похожа на его бабушку. Или ему так показалось? Все бабушки похожи друг на друга ощущением безграничного счастья и того, от чего щемит в груди и хочется улыбнуться.

- Вы чего же так... Неосмотрительно вышли на дорогу. Я мог задавить вас. Тут нет перехода. А я тороплюсь, да. На самолёт, - вздохнул он.

- Внучек! Помоги мне, пожалуйста! - вцепившись в рукав его пиджака, попросила старушка.

Дмитрий Викторович глянул в сторону машины. Кошелёк был там.

- Сейчас. Сколько денег нужно? - спросил он.

- Денег? Каких денег? Нет, что ты, милый! Этого не надо! Помоги мне Анчоуса найти! - бабуля по-прежнему не отпускала его руку.

- Анчоуса? - вскинул он бровь.

В голове тут же сложилось: пожилая женщина потеряла собаку. Но... у него нет времени её искать.

- Бабушка! Вы покричите его! Прибежит. Или к дому придёт. У вас тут всё рядом, никуда не денется ваш Анчоус!

Дмитрий Викторович посмотрел на часы. Время еще было.

- Матрёна Митрофановна меня зовут. А тебя как? – не отставала старушка.

- Дмитрий Вик... Митя, - глухо произнёс он.

Так давно его никто не называл. Зачем он сейчас вспомнил и назвал свое детское имя? Непонятно.

- Митенька... У меня так мужа звали. Митенька, помоги мне, а? Ножки не держат, так расстроилась. Анчоус-то всё, что у меня осталось! Мужа схоронила давно уже. Дочка с внучкой разбились в то лето... Никого нет теперь. Только он! - бабушка принялась утирать слёзы краешком платка.

Дмитрий Викторович снова взглянул на часы. Если он будет ехать быстро, то в принципе, время еще есть.

- Садитесь в машину. Сейчас объедем улицы! У вас их не так много! Прямо пасторальная идиллия, а не место! Все зелёное, в цветах! – он помог старушке сесть в машину.

Прокатились они быстро по улицам. Только Анчоуса так и не нашли.

- Спрятался, наверное. Матрёна Митрофановна, послушайте, у меня самолёт. Я вообще бы в ваши края не заехал, но вспомнил про телеграмму. Всем что-то срочно нужно здесь. Другу Сергею телеграмму, вам вот Анчоуса найти. Давайте сделаем так. Вы его ищите, продолжайте. А я вам свой телефон напишу, хорошо? Приеду, помогу если что. Не плачьте вы! Хотите, если не отыщете, я вам корги куплю? - предложил Дмитрий Викторович.

- Какие корги? Зачем они мне? У меня свои дома есть! Сушу на печке! - всплеснула руками Матрёна Митрофановна.

- Нет, вы не поняли. Корги - это собачка. Как у английской королевы! Хотите? - усмехнулся молодой мужчина.

- Нет, внучек. Не надо мне корги эти. Какая я королева? Мне бы Анчоуса! Окромя его никто не нужен! - бабушка продолжала доверчиво смотреть на него.

Они на улицу вышли. Раскалённым апельсиновым шаром висело в небе солнце. Пахло скошенной травой и мёдом. Дмитрий Викторович положил визитку бабушке в карман. И пошёл к автомобилю. Краем глаза заметил, что старушка вначале бросилась за ним, потом остановилась.

Сел за руль. Ему нужно срочно на самолёт. Он опоздает, а там новый контракт и деньги. Он ещё успевает, если будет ехать очень-очень быстро.

Перед тем, как тронуться, посмотрел в сторону бабушки. Она стояла и плакала, опустив голову. Вытирала слёзы краями платочка. Встретилась с ним взглядом через открытое окно.

- Храни тебя Бог, Митенька! Ты и так много времени на меня потерял! Сама поищу! Господь в помощь! - помахала ему рукой старушка.

А он сквозь это лето и солнечные блики вдруг увидел заснеженную зиму. И бабушка Липа махала ему так же рукой, пока не скрылась за снежной пеленой. Больше он её не видел...

Да, у него контракт и деньги на кону. А у неё, у этой старушки - что? Пустой дом без близких? Загадочно исчезнувший Анчоус, в которой сосредоточены вся жизнь и любовь? Не может он уехать. Это будет предательством. По отношению к этой старушке Матрёне Митрофановне. По отношению к своей бабушке Липе...

Дмитрий Викторович вздохнул. Машина плавно тронулась, он её в стороне поставил. Пошёл по направлению к старушке, грустно подумав, что сделка уплыла. И его друзья, и знакомые не поверили бы, если бы увидели, что он творит. Но так надо. Так правильно.

- Ты чего это... Не нужно ехать-то? - старушка снова схватила его с надеждой за рукав.

- Теперь уже не нужно. Ну что, давайте, вашего Анчоуса искать!

- Ты называй меня на «ты», внучек. Можно - бабушка Матрёна. Меня внучка звала «баба Матрёшка». Прости, Митенька, что задержала тебя. Но я не могла иначе! - всхлипнула бабушка.

Дмитрий Викторович, повинувшись порыву, прижал её к себе. Так они и стояли какое-то время. Шикарно одетый молодой мужчина и простая деревенская старушка, незнакомые до сегодняшнего дня.

А потом долго бродили по улицам. И баба Матрёна всё кричала: «Анчо-о-ус!». Домой к себе позвала, мол, он притомился, поди.

Домик был маленький. Внутри бедно, но чисто. Дмитрий Викторович пообещал себе мысленно бабуле помочь...

Вязаная ажурная скатерть на круглом столе. Самовар и верёвочка баранок. Банка с молоком. Разноцветные коврики. На стене - фотографии. Седовласый мужчина с ямочкой на подбородке. Молодая женщина, прижимающая к себе зеленоглазую девчущку. Семья, её семья. Рядом иконы.

- Садись, Митенька. Молочка хочешь? Козьего? У меня Морoshка живет. Вот от неё молочко! Пирожки вон тут, под полотенцем. С картошкой, с капусточкой. Кушай, милый. Ты что-то бледный такой мне вначале показался! - погладила его по светлым волосам бабушка Матрёна.

Он улыбнулся. Впервые не дежурно, а от души. Это было то же самое молоко, родом из детства. И пирожки такие же, как у бабы Липы. Он перестал есть выпечку где-либо. С тех пор, как не стало бабушки. Потому что всё казалось пресным и невкусным. Пришло и долгожданное ощущение покоя. Даже спать захотелось. Ему давно не снились сны. И все время было ощущение гнать, бежать куда-то, успевать...

До этого момента Дмитрий Викторович не понимал, как сильно всё-таки устал. И не хватало этих разговоров, тёплых, по душам. Потому что не доверял даже тем, с кем дружил. Отец и мама его, конечно, любили, как и он их. Но того тепла, что было с бабушкой, не доставало. И вот теперь оно возвращалось.

- Баба Матрёна, пойдёмте дальше искать пропажу вашу! - Дмитрий Викторович поднялся.

Странно, но в доме и на крохотной кухоньке он не увидел собачьих мисок. Но решил, что из-за хорошей погоды вышеупомянутый Анчоус мог заниматься перекусами во дворе.

На одной из улиц им повстречалась дородная дама в красном платье с розами. С любопытством зыркнула в их сторону и остановилась:

- Здорово, Митрофановна. Слушай, ко мне тут опять сын приехал, да внучата, как хорошо-то!

Дальше полился поток информации про неведомого сына и внучат. Баба Матрёна кивала. Дмитрий Викторович стоял рядом. Пиджак он оставил в доме. Тёмно-синие брюки, белая рубашка. Соседка, выдав новости, ещё раз взглянула на него и не удержалась:

- А это... Кто это с тобой, а? Митрофановна?

Баба Матрёна молчала. И чей-то голос, в котором он узнал свой собственный, вдруг произнёс:

- Я внук. Митя. Будем знакомы!

Соседка охала и ахала, даже чуть сумки не уронила. И устремилась куда-то вниз по улице, остановив случайную прохожую и отчаянно жестикулируя в их сторону.

Баба Матрёна робко улыбнулась и погладила Дмитрия Викторовича по руке.

Так они и шли. Старушка и бизнесмен. Вдруг из-за поворота выбежал гусь. Он размахивал крыльями, гогоча. Старушка охнула и кинулась к нему навстречу. Птица обнимала бабу Матрёну, норовя положить голову ей на плечо...

- Митенька! Иди сюда! Нашёлся, слава Богу! Митенька, вот он! Анчоус мой! - приговаривала старушка.

Дмитрий Викторович рассмеялся. Нет, этого не может быть! Гусь! А собственно, с чего он решил, что Анчоус - собака?

- Умница он у меня такой! Гусёнком еще так привязался, что верный дружок стал! По пятам ходит. Гуси и людей запоминают, и дорогу без труда найдут. Оттого и перепугалась я, когда он пропал сегодня. Никогда и никуда не уходил! А дом он знаешь, как охраняет! Не хуже собаки! А назвала его так, что он анчоусы любит, неизвестно почему. Все удивляются. Гуси же травку щиплют. А этот вот особенный.

Схватит анчоус - и бежать. То ли ест, то ли прячет куда, - радостно делилась впечатлениями бабушка Матрёна.

К дому бабушки Матрёны они втроём шли. Важно ковылял впереди Анчоус.

Свой телефон Дмитрий Викторович в пиджаке оставил.

Взял в руки: 70 пропущенных звонков от мамы. Что-то случилось? Он не успел набрать её номер, как сотовый ожил...

- Кто это? Сынок?! Дима?! Сыночек!!! Где? Как??? Дима, это правда ты, родной?!!! – плакала мать.

Он никогда не замечал у неё таких эмоций и пробовал что-то сказать. Но в ответ слышались лишь рыдания. Наконец раздался какой-то звук и в трубке послышался дрожащий голос отца.

- Дима! Димочка! Сыночек! Как же так? Где ты, сынок? – и отец заплакал тоже.

- Папа! Да что случилось? У вас что-то? С мамой? Папа, не молчи! – крикнул он.

- Самолёт... Самолёт упал, Дима. Тот, на котором ты лететь должен был. Мы думали, ты погиб, мама упала сразу... Как??? Где ты, сынок??? Мы выезжаем. Дима, это же чудо, что ты жив!!! – отец и мать, вырывая друг у друга телефон, говорили одновременно.

Ему внезапно стало трудно дышать. Расстегнул верхние пуговицы. Вышел на крыльцо. На скамеечке перед домом, протягивая ему горсть ягод, сидела бабушка Матрёна. Важно обходил свои владения гусь Анчоус.

- Папа, я у бабушки. Нет, не в бреду я. Не волнуйся! Вы приезжайте с мамой сюда!

Он не плакал с 8 лет, с того дня, как прощался с бабой Липой. Но сейчас солёные капли текли по щекам. А бабушка Матрёна суежилась рядом, вытирая их платочком.

- Пап, со мной всё хорошо. Я вас так люблю! Знаешь, у нас теперь снова есть бабушка! Её Матрёна зовут. Я жду вас с мамой! – продолжил Дмитрий Викторович, вдруг почувствовал себя ребёнком, а не идущим напролом сильным мужчиной.

И склонился перед Анчоусом, который в ответ нежно обнял его двумя крыльями, наклонив голову на плечо. Рядом крестилась бабушка Матрёна...

Галя Прогово. Пятигорск.



ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Борщ пересолила, с солью переборщила.

Сел в автобус. Стою.

Только в русском языке матом можно обидеть человека, но и похвалить.

Языковый "взрыв" для иностранца:

– Есть пить? – Пить есть, есть нету...

Русский мат - это такой бесплатный стрессосниматель.

Как перевести на другие языки, что "очень умный" – не всегда комплимент, "умный очень" - издевка, а "слишком умный" – угроза?

Парадокс русского языка: часы могут идти, когда лежат, и могут стоять, когда висят.

Богатый русский язык: писатель пишет, ученик списывает, директор подписывает, писарь переписывает, врач прописывает, следовательно записывает, инспектор выписывает, пристав описывает.

Сдержал слово - молодец, а ведь могло и вырваться!

Второй век иностранцы ломают голову над переводом фразы "Страшно красивая"...

Не речные пороги...

Не речные пороги бурлят,
Не прибрежные плещутся воды:
Заунывно в толпе голоса
Об отсутствии в жизни свободы.

Море лжи! Наша птица-мечта
В западне удовольствий и лени.
Повсеместна в сердцах нищета
От теснот городских поселений.

До безумия буйных голов,
До рекламы и пошлого смеха,
До традиций чужих языков
Унижаются ради успеха.

Вековечный завет праотцов
Позабыли и дети, и внуки.
Тихой песни родных берегов
Не хранят души долгие звуки.

Всё видится, будто сполна
Окаянством наполнены годы.
Будто правда во лжи так скромна,
Что о ней позабыли народы...

А. Лазутин.

Воробушки

В детстве я слышал, как просыпаются воробьи. Их гнездо было за верхним наличником окна. Воробушки чувствовали приближение рассвета: копошились, сонно чивкали. На восходе, даже раньше, боясь пропустить первые лучи, выпархивали из тесного укрытия на край наличника и, шумно востепенувшись, чистили пёрышки. А как только из горизонтов чуточку пробивалось солнце, начинали скакать, громко чирикать. Вот всем бы просыпаться с воробьиным восторгом!

Под окном рос куст черёмухи, посаженный мамой. Воробьи всего двора слетались на него, прыгали по веткам, задирались, ссорились, разлетались, тут же возвращались. Мне казалось, что они нас развлекают, это у них понарошку. На самом деле очень дружны: если воробушек увидит угощение - хлебные крошки, зёрнышки, - подлетит, бочком-бочком подскочит, клюнет разочек и тут же сорвется за товарищами, - уже в шумной компании приступит к трапезе. Конечно, когда гоняется за порхающей капустницей, подмогу не зовёт. Но и не себе он ловит, а птенчикам. Бабочек, червячков, гусениц воробьи выискивают исключительно для своих детишек-воробушек. А кормить ещё голеньких начинают зелёной сладкой тлём: с листьев собирают её в липкие пучочки и к гнездам спешат. Только и успевают от зари и до зари без продыхов и остановок крутиться взад-вперёд туда-сюда: голодных желторотиков в гнезде бывает с десяток. И как только сил не лишаются да на крыльях держатся? Мы бы от изнурения умотались, упали наземь и лапки отбросили.

При неустанной колготне-заботе растут воробьята быстро. И уже через две недели покидают гнёзда для первых полётов. Короткокрылые почти бесхвостые птенцы перелетают на ветки, потом на землю. Прыгают рядом со старшими, но не самостоятельны: клювики восковые и всё ещё жёлтые, - мамы с папами продолжают потчевать своих взъерошенных чад, а те размерами кажутся больше родителей.

Если присмотреться, различать птичек не сложно. Птенцы посветлее: пушистые без пёстреньких перьев. У взрослой воробьихи серые голова и шейка, над глазом бледно-жёлтая полоска. А у воробья на горлышке и груди большое чёрное пятно, темя тёмное. Хлопотливые и удивительно смелые создания. Не раз видел, как стайкой и в одиночку отважно защищают своих деток от нападения сорок и ворон. Не думая о себе, в безрассудном отчаянии набрасываются даже на свирепеющих в охоте кошек.

Спросите, к чему мой незатейливый рассказ? Так ли необходимо отличать воробья от воробьихи? Вы при случае о том малышам расскажите, уверяю, им занятно будет. Да и не только малым занимательно.

Давайте найдём часок, присядем на лавочку, покрошим перед собою из батона. Не важно в какое время года. Солнечно будет или хмарно, затишно или ветрено, - прилетят воробушки. Впорхнут, подскочат бочком, в глаза глянут: с добрым ли намереньем? Ухватят кусочек, отпрыгнут, отлетят в сторонку. Потом вновь вернуться, уже и поближе к нашим ногам. Они недоверчивы, жизнью тёртые, но хорошего человека распознают, могут и с ладони поклевать. Рискнём, проверим себя. Только, если не случится, на воробушков не будем обижаться, лучше задумаемся - что в нас не так.

Воробьи, воробушки... Всегда рядом с нами: за наличником окна маминого дома... у пасхальных куличей на погосте...

Александр ГЕРАСИМОВ

Из сборника СОПРИКОСНОВЕНИЕ



Не лыком шит

Все мы знаем, что лыко - это липовая кора, из которой на Руси плели различные короба, лапти и туеса. Как правило, обувь из лыка носили только бедняки, отсюда и пошло это выражение. Догадались? Правильно, оно означает, что человек не из бедных, что он состоятельный и может позволить себе более дорогую обувь из других материалов.

Привидение из Лоуфорд-Холла

(правдивая история)

Прошло без малого тридцать лет с той поры, как мы с мужем - то было вскоре после нашей свадьбы - посетили Лоуфорд-Холл, старинное поместье неподалёку от Рэгби, повидать которое мне хотелось давно. Припоминаю, что я добиралась туда одна, на почтовых из Ковентри - города, в окрестностях которого мы накануне остановились. Муж мой уехал двумя днями раньше: здесь в графстве Уорвик, проводились скачки, и на них семейство Лоуфордов выставяло своего любимого скакуна. На следующий же день мужу предстояло вместе со старым баронетом отправиться на охоту в его имение. Погода была тоскливая, шёл дождь, и в доме, где мы тогда остановились, я отыскала в библиотеке старую книгу судебных записей, в ней мне встретились кое-какие сведения о Лоуфорд-Холле.

В течение трёх часов в укромном уголке старой комнаты елизаветинской эпохи, где кавалеры на портретах в стиле Ван Дейка, казалось, страстно желали выйти из своих рам, чтобы побеседовать со мной, я сидела, погружившись в чтение странного и ужасного дела об отравлении, шестьдесят лет назад потрясшего всё графство Уорвик. Бывают дни, когда мозг становится необыкновенно восприимчив к разного рода впечатлениям. И все подробности того преступления по какой-то странной причине предстали перед моим внутренним взором или, вернее сказать, оказались запечатлены зрительной памятью с чёткостью и живостью почти болезненными.

Я как бы видела огромную драпированную кровать с балдахинном, на которой лежал богатый вельможа. А вот худая, в манере Хогарта фигура его младшего сводного брата в костюме той эпохи - он крадётся в тени широкой дубовой лестницы. Вот я вижу, как он проходит мимо кровати больного к камину, на котором длинным рядом составлены склянки с разного рода снадобьями. Вижу, как его дрожащая, тонкая и бледная рука, окаймлённая кружевами, наполовину выплёскивает содержимое одного из фиалов и наливает в него лавровую воду, которую он с жестоким тщанием только что приготовил, запершись у себя в комнате. Я слышу страшный крик умирающего в тот миг, когда сводный брат склоняется над ним. Мне слышен также стук копыт - это лошадь доктора мчится рысью по Рэгби-роуд. Мне видится строгое лицо человека в чёрном, когда он, стоя у ложа, приподнимает холодную, как бы вылепленную из воска голову и опускает её с короткими торжественными словами:

- Слишком поздно. Он умер!

Затем я следую за врачом в кабинет, и здесь убийца с лицемерной печалью общает ему вымысел о причинах случившегося с братом приступа и с дьявольской ловкостью предотвращает осмотр тела. Потом я вижу, как отравитель идёт по тихому осеннему саду. Вот он проходит мимо лавра, с которого накануне сорвал роковые листья, и смотрит на него с горькой усмешкой. Теперь он останавливается, и я слышу, как он с ликованием говорит старому садовнику, который отдыхает, опершись на лопату:

- Теперь-то уж для старых слуг наступят лёгкие дни, не то, что при сэре Эдварде. Долго я трудился, чтобы стать владельцем Лоуфорд-Холла, и этот день, наконец, наступил.

Вот я вижу, как он вздрогнул, получив письмо от сэра Вильяма, друга погибшего. Сэр Вильям жёстко и непреклонно настаивает на необходимости осмотреть тело умершего. Шаг за шагом я следую за вкрадчиво говорящим, жестоким негодяем с кошачьими повадками, пока наконец не оставляю его в наручниках на тонких запястьях. Вот он поднимается в тюремную повозку, и его везут на виселицу в Уорвик. Всё это время он непрестанно лжёт, упрямо отрицая свою вину, хотя следствие уже собрало несчётное множество улик, и те неопровержимо изобличают его как убийцу брата. Вот ещё я вижу, как в ночь накануне казни, когда его суровые стражи спят, он - столь редко склонявшийся пред Богом - украдкой встаёт с кровати и падает на колени. Сложив закованные в цепи руки, он со страстной мольбой обращается к Верховному Судии, и мне хочется надеяться, что хотя бы в этот последний миг он обретает Божье прощение.

Подобные сцены снова возникли перед моим мысленным взором, когда почтовая карета, в которой я ехала, свернула за Ньюболдом на дорогу к Литтл-Лоуфорду. После нескольких часов сильного дождя опять засверкало солнце. Свет играл на пожелтевших листьях лип и отражался на мокрой крыше старого дома. Это было большое мрачное здание, одна половина оказалась построена в стиле Тюдоров, другая - классическая. Его большое елизаветинское крыльцо неприятно контрастировало с безобраз-

ными квадратными окнами эпохи короля Георга, делавшимися ещё более неприглядными из-за того, что они перемежались живописными нишами. Чувствовалась особая прочность в тяжёлых каменных переплётах, и даже лёгкие современные рамы на окнах - последнее голландское изобретение - не могли поколебать её.

Я с сожалением подумала о том, что этот старый дом был столь неудачно отремонтирован. Справа от крыльца помещалось старинное окно в тюдоровском вкусе, которой особенно поразило меня. Оно было увито виргинским плющом, и листья его сделались уже почти алыми. В ту минуту, когда я взглянула на это окно, сцены из старой жизни, связанные с когда-то совершённым здесь преступлением, вновь завладели моими мыслями. Именно под этим окном стоял отравитель в то роковое утро, и весело, беззаботно звал сестру, чтобы узнать, готова ли она к верховой прогулке перед завтраком. Сестра только что вышла из комнаты больного брата. Она дала ему той отравы, которую приняла за лекарство; больной, казалось, уснул. Направляясь из его комнаты к себе, она через окно в коридоре услышала, что сводный брат зовёт её со двора.

- Я буду готова через четверть часа! - крикнула она в окно. Тогда младший брат, отойдя от окна, неспешно двинулся к конюшне, сел на свою уже осёдланную гнедую кобылу и поскакал в Уэльс. Через пять минут сестра вернулась в комнату старшего брата и застала того в предсмертных судорогах.

Пока почтовая карета подъезжала к парадному крыльцу, я заметила справа небольшой дворик, о котором также читала накануне. Он был огорожен с двух сторон, большие железные ворота вели в сад. Именно там отравитель беседовал с двумя арендаторами, пришедшими навестить его больного брата, а потом направился готовить вытяжку из лавра.

Как ни величествен был этот дом, охраняемый липовой аллеей и обширными садами, мне невольно казалось, что над ним всё ещё тяготеет проклятие. Во всём облике дома было что-то зловещее, злополучное. Оно действовало на моё слишком бурное воображение и вызывало томительное предчувствие надвигающейся на меня неотвратимой беды. Такое ощущение можно сравнить с тем громким и жалобным звуком, какой издаёт большой колокол, когда его вытаскивают из гнезда: звук этот отдаётся скорбным эхом по бесконечным переходам и, кажется, не кончится никогда.

* * *

Обед получился скучный. Леди Лоуфорд в Париже показавшаяся мне такой восхитительной, очаровательной и живой дамой, выглядела теперь удручённой своими обязанностями графини-хозяйки и никак не могла в одиночку развлечь собравшихся за столом местных знаменитостей. Мне казалось при этом, будто на неё невесть откуда обрушилось какое-то скрытое беспокойство, какая-то тайная печаль. Она была рассеянна, часто впадала за столом в неловкое молчание. Врач, адвокат, пастор, две-три старые девы и несколько застенчивых дочерей деревенских помещиков - вот те люди, которых ей надлежало развлекать; и пока что она в этом не преуспела.

Место, где проводились конные состязания, находилось весьма не близко, и поэтому наши с нею мужья ожидали только к позднему вечеру. Пару раз за обедом леди Лоуфорд сильно встревожила меня, упомянув, что по дороге домой им предстояло проехать по довольно опасному месту. Но она, тем не менее, надеялась, что всё обойдётся благополучно. Уже мы, женщины, собирались встать из-за стола, к явному удовольствию врача, пастора и адвоката, когда в холле вдруг послышался шум голосов, топот ног, а затем чей-то стон. В ту же минуту в залу поспешно вошёл сэр Эдвард Лоуфорд в забрызганном грязью алом сюртуке. Он был бледен и взволнован, одна рука у него висела на перевязи.

- Господин Добсон, - сказал он, обращаясь к врачу, который весь напрягся, - нам незамедлительно требуется ваша помощь. Бедняга упал с коня и сильно ушибся.

Когда же он увидал меня, лицо его приняло ещё более строгое выражение.

- Моя дорогая миссис... - сказал он, подойдя и беря меня за руку. - Вам не следует волноваться. Спору нет, ваш муж упал с лошади. У него повреждено плечо и, может статься, одно из рёбер. Но всё, я думаю, обойдётся.

Больше я ничего не помню: мне рассказали потом, что я тут же лишилась чувств. Нервы у меня от природы, надо сказать, крепкие, но со слов сэра Эдварда мне сразу стало ясно, что с Джорджем случилось несчастье и что он опасно ранен. Так оно в действительности и оказалось.

* * *

Лишь через неделю жизнь моего мужа была вне опасности. У него оказалось вывихнуто плечо и сломаны два ребра. Кроме того, при падении он сильно повредил колено. Я сидела, не отходя от него ни днём, ни ночью, и сама давала ему лекарства; необходимо было заглушить боль, вызванную вывихом и переломами, а также сбить температуру. Если б не обезболивающее, он не смог бы забыться столь необходимым для него сном.

Припоминаю, что только на девятый день после случившегося несчастья, бледная, встревоженная и измождённая, я смогла впервые спуститься вниз и занять своё место за обеденным столом. Мне было очень грустно и одиноко, хотя сэр Эдвард - сама внимательность и сердечность - неустанно оказывал мне всяческие знаки внимания и на все лады выражал сочувствие.

- Как всё это прискорбно. И как некстати! - заявил он. - Надо же этому было случиться в самом начале охотничьего сезона. Уж хотя бы в конце, тогда бы не так обидно было. Я как раз собирался показать сэру Джорджу, какая у нас тут славная охота. Да! Передайте ему, бедняге, когда подлечится, что нам пришлось пристрелить Пенелопу: она тогда сломала себе ногу. Впрочем, по мне, лучше застрелить всех своих лошадей, лишь бы гости были целы и невредимы.

- Теперь, уверяю вас, опасность уже позади, - вмешался в наш разговор сельский врач, похоже, постоянный гость на всех обедах в Лоуфорд-Холле. - Клянусь врачебной честью, сударыня, что если только супруг ваш будет следовать всем моим предписаниям, то мы сможем поддерживать искусственный сон, не причиняя вреда системе кровообращения и органам пищеварения.

- Ох, уж эта мне верховая езда, сэр Эдвард! - заметил столь же непременный при этих застольях пастор. - Она, скажу я вам, изрядно походит на скачки царя Ииуя, сына Намессия. Именно так. Явление это делается всё более распространённым среди нашей сельской аристократии, и оно, уверяю вас, будет сопровождаться куда более страшными происшествиями. Где вы достаёте столь отменное мозельское, сэр Эдвард?

Равно необходимые за таким обедом старые девы издавали свои обычные восклицания, с тем же успехом приложимые к чему угодно:

- Как неприлично! Это просто возмутительно! О, Боже, даже страшно об этом подумать, дорогая!

Я терпела всё это, насколько хватало сил, но этот длинный, томительный вечер - казалось, он длится уже целое столетие - невольно располагал к тому, чтобы после целый год провести в затворничестве. Ох уж эта соната Бетховена, которая никак не желала кончаться! С какой беспощадной точностью отбарабанила её добросовестная дочь пастора. О, убийственная скука строго-научной игры в роббер, на которой я присутствовала уже словно во сне. В конце концов, игра начала усыплять и остальных. Сэр Эдвард утомившись днём во время охоты на лис, заснул при раздаче карт, и я внутренне возликовала, когда лакей наконец-то объявил, что чей-то экипаж подан. И тут леди Лоуфорд сказала:

- Думаю, мы все уже засыпаем, поэтому, может быть, лучше пойти спать?

«Неужели это та самая леди Лоуфорд с которой я познакомилась в Париже?» - подумалось мне, когда я поднималась по старинной дубовой лестнице, с опаской поглядывая на собственную тень. Я вошла в длинный коридор - жилой в нём была только одна наша комната. Жалким и печальным оказалось наше пребывание здесь. Если когда-то в доме этом и было совершено преступление, то неужели же тень его должна омрачать жизнь всех последующих его обитателей? Я не могла понять перемены, происшедшей в людях, которых знала прежде такими весёлыми и приятными, и тщетно искала её причину. Можно было ожидать, что они окажутся расточительны, поскольку жизнь их - нескончаемая круговерть развлечений; но того, что они будут до такой степени измучены заботами, скукой, я не могла себе и представить. В самом деле, можно подумать, будто тем стародавним убийцей был отец сэра Эдварда, а не какой-то далёкий и бездетный двоюродный дед. О, только бы с Джорджем всё было хорошо! И я подумала, что нам следовало бы поскорее уехать из этого ужасного места.

Последние слова, как оказалось, я, задумавшись, произнесла вслух, когда открывала дверь спальни. Я сказала их так громко, что испугалась, не разбудила ли Джорджа. Но он крепко спал, дыша с трудом и положив забинтованную руку поверх стёганого одеяла. Лампа в комнате не была зажжена, но в камине горел огонь, и весёлые тени от него плясали на потолке. Пузырьки с лекарствами были составлены в ряд на камине;

заботливый слуга на маленьком столике оставил для меня варенье, немного мяса и фруктов.

В изнеможении я опустилась в большое резное кресло, стоявшее подле камина, и прислушалась к дыханию мужа. Кроме этого звука да размеренного тиканья часов в коридоре, ничего не было слышно. В дальнем крыле дома вдруг хлопнула дверь, и послышался звук задвигаемого засова. После этого весь дом, казалось, погрузился в глубочайший сон. Стало тихо, как в фамильном склепе. Один раз ветка клематиса постучала в стекло, словно фея, умолявшая, чтобы её впустили в комнату. Другой раз поток холодного воздуха, неизвестно откуда взявшийся и куда затем девшийся, вполз из-под двери и, незримый, холодной струёй пронёсся по комнате подобно привидению. Прошло ещё с полчаса, я всё сидела и прислушивалась, но вот внезапно ветер с улицы забрался в большую трубу нашего камина и тревожно зашумел в ней, а потом затих, как бы успокоенный таинственной силой, которой не мог противиться.

Я смотрела на огонь, задумавшись неизвестно о чём, и ждала, когда, наконец, наступит половина второго, чтобы разбудить Джорджа и дать ему укрепляющее питьё. И тут мой взгляд упал на картину, висевшую в ряду других портретов. Раньше я не обратила на неё внимания, поскольку этот портрет висел в том углу комнаты, который даже днём оставался тёмным из-за того, что находился в тени от тяжёлых алых штор. Но сейчас огонь из камина полностью осветил портрет, и я смогла разглядеть нарисованное на нём лицо так же ясно, как если бы на него упал луч солнца. Там был изображён мужчина лет тридцати. Черты лица были твёрдыми и довольно резкими, вольтеровского типа. Напудренные волосы собраны и перевязаны лентой. На тонких губах играла холодная, натянутая улыбка. И тут на ум мне пришла мысль, прогнать которую было уже не в моих силах: «Это портрет убийцы», - подумалось мне. Именно таким - тонким, змеиным - представляла я себе его лицо.

И снова сцены происшедшей здесь когда-то трагедии предстали перед моим умственным взором. Вот человек с портрета склоняется в притворном сострадании над мёртвым телом. Вот лицо его с торжеством улыбается садовнику. Вот человек с портрета укоряет сестру, когда у неё возникли какие-то смутные подозрения после того, как он прополоскал фиал, в котором больному была подана отравка. Затем это же лицо с отточенной учтивостью выражало притворную готовность ответить на все вопросы следствия.

Я понимала, что портрету убийцы не висеть бы здесь, знай Лоуфорды о его существовании. И всё же мне думалось, что хотя имя негодяя с течением времени и забылось, но на портрете изображён именно он. Приговорённый к изгнанию на чердак, портрет этот с дьявольской изворотливостью каким-то образом сумел найти дорогу назад и пробрался в своё прежнее жилище. Возможно, что наша комната была как раз спальней злодея и где-то здесь имелась дверь в потайную комнату, запершись в которой он и приготовил яд. Возможно, - и страшная мысль заставила меня помимо воли содрогнуться, - наша комната принадлежала убитому, и именно в ней больной умер в мучительной агонии. О, этот ужасный дом! Я никогда не буду в нём счастлива. И мысли мои потекли по прежнему руслу.

Мне представилась такая сцена: явились два врача, за которыми послал сам убийца; им поручено провести осмотр тела. Злодей встречает их в холле со свечой в руке и приглашает войти. Он учтив и предупредителен.

- Сэр Вильям, - говорит он им, - выразил желание, чтобы тело было осмотрено.

- С какой целью? - спрашивают они.

- Единственно с целью удовлетворить семью, - отвечает он и показывает им письмо от сэра Вильяма, где выражена воля последнего. - Исключительно для того, чтобы снять всякие подозрения с находившихся рядом с умершим...

- Не написал ли сэр Вильям также и другого письма? - спрашивает самый недоверчивый из врачей.

- Да, было и другое письмо, такое же дружественное, - заверяет он их.

Но в действительности то другое письмо ни в коей мере нельзя было назвать дружественным: в нём выражалось подозрение, что больного попросту отравили. Злодей же сделал вид, будто ищет это второе письмо в кармане жилета, и вытащил из него какой-то конверт. Доктор успел взглянуть на него, как убийца уже положил его назад в карман. Но поскольку доктор узнал на конверте почерк сэра Вильяма, то ничего и не сказал. В результате осмотр тела тогда так и не состоялся, и факт совершения преступления ещё долго оставался неустановленным, до той поры, пока другой, куда бо-

лее проницательный и не такой доверчивый медик с чрезвычайной энергией не взялся уличить этого изошрённого преступника.

Я взглянула на часы: была половина второго. Тут я встала и, подойдя к кровати, попыталась разбудить мужа, чтобы дать ему лекарство. Однако он, недовольно шевельнувшись и глубоко вздохнув, так и не проснулся. Лучше было вовсе не будить его, пусть спит. Поэтому, переодевшись в ночную рубашку, я сгребла в кучку оставшиеся в камине дрова - остальное сгорело уже до белого пепла, и легла рядом с мужем. Я только начала засыпать, как вдруг какой-то звук разбудил меня. Из-за бессонных ночей чувствительность моя обострилась, и я сразу же проснулась. Звук был очень слабый, казалось, будто кто-то пытается повернуть ручку двери. Я опять прислушалась - всё тихо. Может быть, то была крыса, которая скреблась за стеной панелью: ночью ведь даже самый слабый шум увеличивается до грохота нашей фантазией. Я привстала в кровати, и снова прислушалась: ничего. Дрова, слабо тлевшие до этого, как раз вспыхнули и загорелись ярким пламенем.

Я снова легла и, как мне казалось, уснула. И я вновь пробудилась, но на этот раз не от звука, а от щемящего чувства неопишуемого ужаса, какой овладевает нами при встрече со сверхъестественным. Открыв глаза, не шевелясь, смотрела на дверь. Ужас парализовал меня: я увидела, как дверь мягко и бесшумно открывается и из темноты коридора в комнату медленно вливается фигура какого-то старика, одетого в поношенный жёлтый халат. Тихо закрыв за собой дверь, он повернулся, и передо мной оказалось тонкое, измождённое лицо, бледное как у мертвеца, голова чем-то обмотана, а челюсть подвязана, как это бывает у покойников. Взгляд пустых, совершенно бесцветных глаз был устремлён на камин. Вошедший, казалось, не замечал кровати и тех, кто лежал на ней. Медленно скользя по полу, дух убитого - у меня не было сомнений, что это он - двигался в направлении огня и, словно в задумчивости, остановился подле камина. Затем, взяв один из флаконов с лекарствами, стоявших на камине, он внимательно осмотрел его и вылил содержимое в стакан. После чего призрачная фигура уселась в старинное кресло у камина и долго сидела в нём, двигая над пламенем белыми, почти прозрачными руками.

Смелость медленно возвращалась ко мне, и я серьёзно задалась вопросом - вижу ли я сон или просто брежу. Желая увериться в том, что проснулась, я потихоньку протянула руку и сжала руку мужа. Он шевельнулся и издал слабый стон. Взглянув вверх, я сосчитала зелёные и красные цветы на балдахине кровати. Я вспомнила, где находится звонок, но до него мне было не дотянуться. Тогда я сняла с пальцев кольца, потом снова надела их. Я даже достала часы и посмотрела, сколько времени, - было четверть третьего.

Итак, я лежала и пыталась убедить себя, что открывшаяся дверь и бледная фигура в полинялом жёлтом халате, сидящая в кресле, были лишь обманом чувств, вызванным нервным перевозбуждением. Я снова крепко сжала руку мужа, на этот раз так крепко, что он вздрогнул и застонал. При этом звуке фигура у огня встала с кресла, помешала угли в камине, и медленно направилась к нашей кровати. В свете огня от камина я к своему неопишуемому ужасу увидела, что в одной руке призрак держит длинный, острый нож. Блеснувшее в отсветах пламени остриё его было обращено вверх и направлено в нашу сторону.

Обуглившиеся дрова в камине горели так слабо, что едва отбрасывали на пол красноватые блики, и всё же света было достаточно, чтобы я увидела, что фигура, подняв нож, крадёт ко мне. Я похолодела от ужаса. Страх настолько сковал меня, что у меня не было сил ни шевельнуться, ни позвать на помощь. Вдруг фигура наткнулась на стул, стоявший у стола, за которым я имела обыкновение читать, и опрокинула его. В ту же секунду мозг мой скинул оцепенение, и силы вернулись ко мне. Сердце у меня учащённо забилося.

Это вроде бы незначительное происшествие убедило меня в том, что в фигуре не было ничего сверхъестественного. То мог быть кто угодно: убийца или лунатик, но он явно состоял из плоти и крови. Я не знала, какова его цель - она, несомненно, была ужасна. Он, однако, всё стоял вблизи нас с ножом в руке, глядя на меня пустым, мертвенным взглядом, в котором читалась дьявольская злоба. Я уже было собралась вскочить с кровати, попытаться отнять у него нож и звать на помощь, когда фигура вдруг повернулась к двери и выскользнула из комнаты так же бесшумно и призрачно, как и вошла. Я глядела ей вслед. Затем, ощутив внезапный прилив сил, вскочила с кровати, захлопнула дверь, быстро повернула ключ, молниеносно задвинула щеколду и без чувств упала на пол.

* * *

На следующее утро я как обычно спустилась вниз и присоединилась ко всей компании за завтраком. Я решила ничего не рассказывать о ночном происшествии, лишь пожаловалась на бессонницу и недомогание. Со всех сторон раздались возгласы сочувствия и посыпались советы, что мне не стоит сидеть у постели больного ещё одну ночь.

- Моя дорогая миссис, через год вы будете относиться к таким вещам гораздо спокойнее, - цинично заверил сэра Эдвард.

Я заметила, что леди Лоуфорд смотрит на меня. С тревогой и какой-то особенной серьёзностью. Когда завтрак закончился, она незаметно увела меня к себе в будуар.

- Дорогая миссис, - сказала она, беря меня за руку. - У вас очень усталый вид и вы чем-то в конец расстроены: я женщина светская, старше и опытней вас, так что и не пытайтесь этого отрицать. Нынешнюю ночь с вами, несомненно, приключилось что-то ужасное. Думаю, я догадываюсь, что бы это могло быть. Конечно же, не из-за ночного бдения подле постели больного так дрожит сейчас ваша рука. Ну же, милая, откройтесь мне расскажите, в чём дело.

И я рассказала ей всё, ничего не утаив, начав со своих мыслей о портрете отравителя и до той минуты, как я без чувств свалилась на пол подле двери. Рассказывая, я заметила, что лицо леди Лоуфорд становится всё печальнее и серьёзнее. Когда я закончила, она тяжело вздохнула:

- Моя милая, - сказала она мне в ответ, - я просто обязана раскрыть вам эту тайну, но мне бы очень хотелось, чтоб это объяснение осталось между нами. Дело в том, что в дальнем крыле своего дома мы держим сумасшедшего. Этот старик - родственник сэра Эдварда. Он очень любил сэра Эдварда, когда тот был ещё ребёнком, и мой муж в благодарность за его доброту взял на себя заботу о нём теперь, когда жена и друзья его совершенно покинули. Он требует от нас огромного внимания, так как временами подвержен мании человекоубийства. В такие периоды он очень коварен и опасен, а потому за ним необходимо особенно строго присматривать. Однако как раз прошлой ночью, человек, приставленный к нему, выпил лишнего вместе с прислугой, и его сморил сон, как он сам теперь признаётся. Старик, воспользовавшись этим, украдкой покинул свою комнату и по чёрной лестнице, ведущей на кухню, спустился вниз. Там он взял со стола среди кухонной утвари большой нож для разделки мяса и направился с ним на вашу половину дома. Человек, присматривающий за ним, проснулся и, хватившись своего подопечного, побежал за ним на розыски. Нашёл он его в холле, где старик, скорчившись, лежал на полу. Из его бессвязных слов слуга понял, что тот вошёл к кому-то спальню, в вашу или в чью-то поблизости. Вот и вся тайна, моя дорогая миссис... Мне остаётся только глубоко сожалеть, что вам довелось подвергнуться столь страшной опасности.

Мы оставались, вернее, были вынуждены оставаться в этом доме ещё много дней. Но должна признаться, что, несмотря на всё гостеприимство леди Лоуфорд, я была бесконечно рада наконец-то увидеть карету, которая увезла нас подальше от этого ужасного дома. И в своих снах, как жуткий кошмар, я часто вижу старинное окно эпохи Тюдоров, огромные железные ворота, портрет в тёмном углу, освещённый отсветами огня в камине, и призрачную фигуру старом жёлтом халате.

1895 г.

Артур Конан Дойл



**Мысль летит, а слова идут шагом.
В этом вся драма писателя.
Александр Грин.**



Иду, смотрю - 2 голубя сидят,
Один другого по голове тук-тук...
Второй взъерошился, но молчит,
терпит... Муж, наверное!



Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает:
- Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
- Тебе срочно?



Предложила знакомому переписываться
с помощью настоящих бумажных писем,
мол романтично и все такое... Он долго
молчал, а потом ответил:
"Натаха.....Ты в тюрьме?"